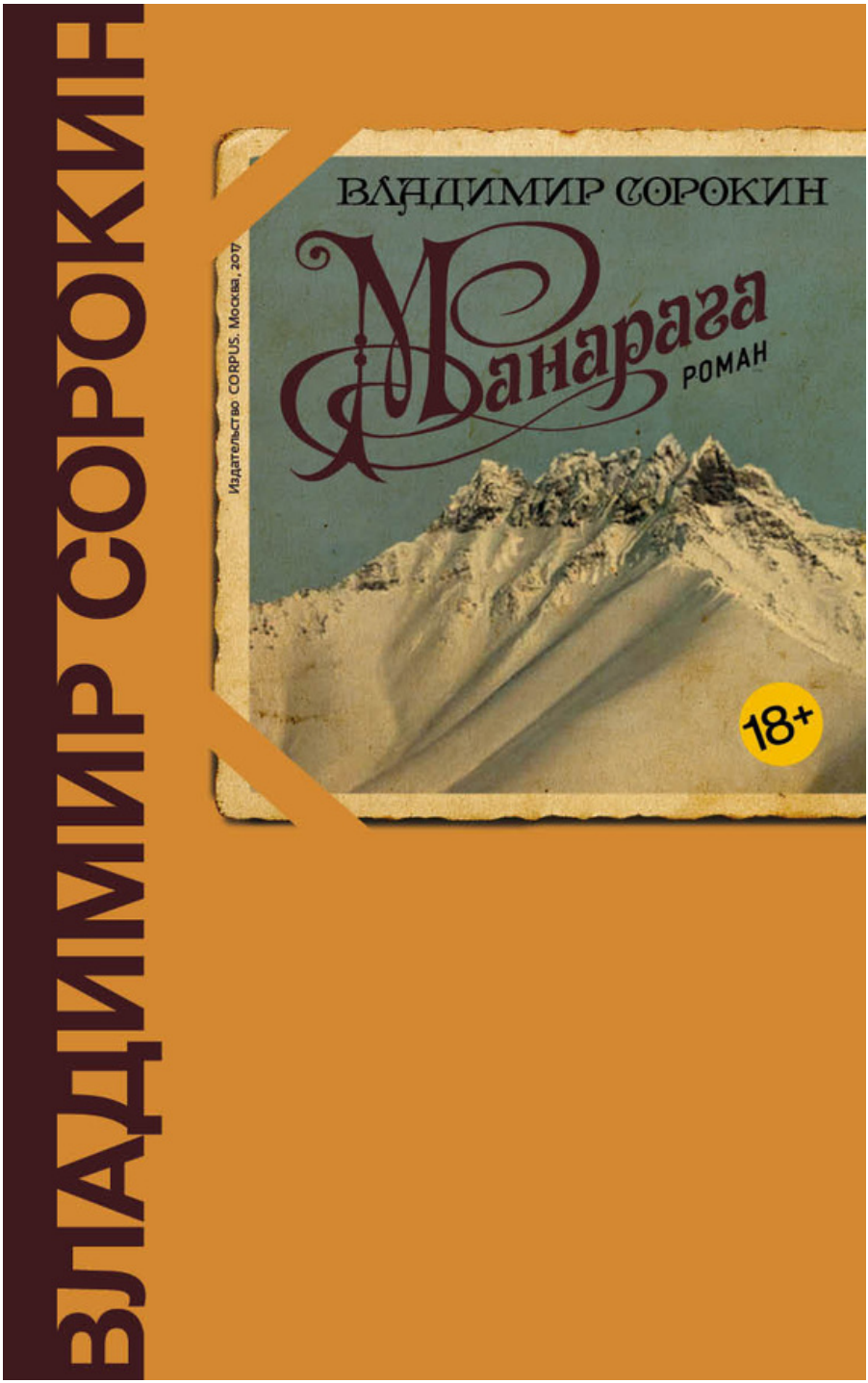
Манарага

Владимир Георгиевич Сорокин

SHOUT
SHARE
IT



Владимир Сорокин

Манарага

13 марта

Вечер: шашлык из осетрины на “Идиоте”. Роман *полноценный,* второго среднего веса, 720 граммов, 509 страниц, бумага веленевая, цельнотканевый коленкоровый переплет. Вполне хватило на восемь шампуров.

Как и было обговорено, клиент + семеро гостей восседали вокруг жаровни. Естественно, не только чтобы убедиться, что я жгу именно первое издание, книгу за 8700 фунтов, а не подменил ее каким-нибудь северным детективом XXI века про сто пятьдесят оттенков посредственности. Они хотели искусства. И получили его.

Все, все соответствовало. Я был на высоте.

Хотя только book’n’griller знает, сколько в его работе подводных камней. Это – наша *внутренняя кухня.* Романы, как известно, печатались на разной бумаге. И гореть она может по-разному. Возможны как тление, так и вспышки, с последующим воспарением листов и прилипанием их к мясу или кружением над головами клиентов. В наших жаровнях есть специальные воздушные насосы, способные остановить воспарение горящей и отгоревшей бумаги. Но ими пользуются в основном начинающие. Настоящий мастер должен работать руками и головой. Эти насосы умаляют не только пламя, но и зрелище. Вместе с воздухом они отсасывают презентабельность. А книга должна быть *яркой:* пылать и поражать. Опытный мастер обязан просчитать весь процесс как шахматную партию и хладнокровно балансировать над пропастью. Переплет, каптал, коленкор, картон, марлевые клапаны, пеньковый шнур, закладки, казеиновый клей, засушенные цветочки, книжные вши, клопы или тараканы в корешке – все это скрытые угрозы. Их необходимо учитывать. Однажды у одного повара вспыхнула микропленка, вделанная в корешок в середине XX века. У другого были проблемы с антроподермическим переплетом “120 дней Содома”. Все, все возможно… Малейшая оплошность, неуверенность или самоуверенность – и катастрофа неизбежна. Моя профессия сопряжена с риском. В лучшем случае это потеря денег, вино в лицо, удары дорогой посудой по голове. В худшем – *мягкая*, а зачастую и твердая пуля. Теперь уголовники все чаще заказывают букинистические пиры. А после войны Европа кишит оружием. Сегодняшний немец – эхо золотой довоенной эпохи.

Риск возрастает, когда дамы и господа сидят *вокруг* жаровни и у повара нет тыла. Так на то я и *шеф-гастролер,* а не рядовой book’n’griller. Когда жаровня окружена со всех сторон клиентами с пустыми тарелками, я вспоминаю того легендарного фокусника, что некогда ходил по городам Европы, поражая публику простым

фокусом с протыканием пальца гвоздем. Элементарный трюк, целиком зависящий от угла зрения простаков. Но однажды подвыпившие простолюдины поймали “волшебника” где-то на площади, громогласно требуя фокуса. Гвоздь ему выдали. Его обступили со всех сторон. И пришлось чародею по-настоящему проткнуть себе палец. А гримасу боли народ принял за улыбку. Вот тогда он и получил настоящее признание. Но нам, увы, и протыкать нечего. Вся моя необычная профессия держится только на чистом мастерстве.

Слава огню, за эти девять лет я научился *правильно* обращаться с книгами. У нас говорят: этот повар хорошо *читает*. Я *читаю* прилично. А значит – страницы пылают, одна за другой, завораживая клиентов, мясо шипит, глаза блестят, гонорар растет…

Книги как лошади – дикие и своенравные, если не найти к ним подхода. Я обхожусь без стека и шпор. Ласка, только ласка… Книги для меня не просто *дрова*, как их называют в нашем поварском подпольном сообществе. Все-таки книга – это целый мир, хоть и ушедший навсегда. В этом смысле я романтик. Я сын гуманитария, внук стоматолога, правнук адвоката, праправнук раввина. И я знаю точно – если ты любишь книгу по-настоящему, она отдаст тебе все свое тепло. А я люблю русскую классику, хотя не прочел и до середины ни одного русского романа. И я не буду жарить стейк на писателе второго сорта, вроде Горького. Всю классику я и моя *умная* блоха знаем наизусть: сюжет, биография автора со всеми подробностями, дата выхода бумажного *полена*. Это необходимо знать каждому повару, даже если он вообще не умеет читать книги. А таких людей у нас, к сожалению, все больше. Хотя, безусловно, чтобы хорошо *прочесть* книгу, повару необязательно ее прочесть. Парадокс XXI века. “O tempora, o mores!” – как говаривал мой покойный профессор-отец. А я мальчиком думал, что он говорит о “темпуре”, которую готовили в одной японской харчевне на соседней улице. Во мне уже тогда проснулась душа повара.

За эти девять лет именно русская литература принесла мне весьма приличный доход. Благодаря ее пылающим страницам я прошел суровый путь от рядового повара в подпольных забегаловках Гонконга до шефа-по-вызову с тремя звездами и могу позволить теперь себе жить гастролями, кочуя по миру. Ну и конечно – Опыт, Опыт, “сын ошибок трудных”. Да и мать его – Случайность. И отец – Интуиция.

Все, все приходит с годами…

Так что – книгу надо любить. Недаром мой наставник Zokal, получивший “пожизненно” за легендарный ночной банкет в

Афинской библиотеке, говаривал: “Книга – лучший подарок”. На сорокалетие мы, тогда еще *поварята,* преподнесли ему первое издание “Доктора Но”, зная, что он готовит мощную гриль-парти на собрании сочинений Флеминга для семейки одного американского миллиардера, помешанного на Бонде.

Так что да здравствуют *правильные* книги в огне!

Сегодня же была оч-ч-ч-чень правильная классика – прижизненное издание Федора Михайловича Достоевского.

Клиент – богатый берлинский немец. И семеро гостей разного пола. Естественно, русское меню: икра, водка, pirozhki + единственное горячее блюдо в моем исполнении – осетрина на Достоевском.

Все прошло хорошо. Книга *прочитана* идеально – не быстро и не медленно, минимум дыма. Классика. Я был в форме. Умение повара листать горящие страницы, чтобы поддерживать равномерный огонь – одна из важнейших составляющих нашей профессии. Мы переворачиваем их специальной металлической полоской в форме меча, называемой в нашей среде “эскалибур”. У каждого повара эскалибур свой, сделанный на заказ. После последнего обыска в Пало-Альто я пользуюсь новым – титановым, с костяной ручкой.

Мой меч не подвел меня и в этот раз.

Восемь шампуров с нанизанными аппетитными кусочками осетрины были поданы мною на серебряном блюде без зелени и гарнира. Чистота жанра. И “Редерер” года моего возмужания.

– Bon appétit! – сдержанно пожелал хозяин гостям.

Предшествующий светский разговор, комментарии к моим манипуляциям над жаровней, возгласы и междометия – все смолкло, когда перед каждым на тарелке оказался шампур с еще шипящим шашлыком за 5000 фунтов + возможным пятилетним сроком заключения. Эти две цифры я различал в зрачках гурманов. Бело-янтарная, покрытая золотистой корочкой осетрина исходила дымком.

В полной тишине восемь бокалов сошлись, прозвенели. Пригубив шампанское, дамы и господа взялись за столовые приборы. Скрипнули ножи, вилки отправили первые кусочки дымящейся осетрины во рты.

И – еле слышные звуки осторожного жевания.

Дамы и господа жевали криминал.

Этот звук и это напряженное молчание – ни с чем не сравнимы. Незримая награда, не измеряемая деньгами и риском. Это наша *конкретная* музыка. Кейдж позавидовал бы.

Все последующее было предсказуемо: возгласы и стоны, нервные шутки и похвалы мне, стоящему в белом у жаровни:

– Маэстро, вы превзошли себя!

– Сюзанна, ты чувствуешь запах ста тысяч, брошенных Настасьей Филипповной в огонь?

– Милый, сколько же сегодня сжег ты для меня?

– Барбара, мы с тобой преступницы!

– Ах, в этой рыбе привкус безумия!

– Томас, стыдно признаться, но я впервые ем и осетрину!

Милая, незатейливая буржуазия, механически следующая за модой. Самые спокойные и предсказуемые клиенты.

Ночь: клуб BLEIBTREU; текила со льдом после легкого ужина + сигара Arturo Fuente Opus X.

Вообще я мало пью. И не курю. Но после удачного *чтения* могу позволить себе хлопнуть пару стаканов текилы со льдом + выкурить доминиканскую сигару. Текила со льдом – напиток бодрящий, легкий и освежающий. И доминиканские сигары гораздо приятнее кубинских… Relax, relax, book'n'grill chef.

10 000 фунтов за вечер – неплохой навар. Мой прайс уже обогнал стоимость книги. Это знак качества. А когда растет прайс, вместе с ним растет и чувство *глубокого* удовлетворения. Статус, статус book'n'grill chef. В общем, я доволен. И профессией, и судьбой. Хотя не все в моей жизни было гладко. Но шрамы для нашего брата book'n'griller – привычное дело.

Попыхивая сигарой, достаю пачку красивых полупрозрачных английских банкнот с самодовольной физиономией короля, вынимаю одну, складываю из нее тельца. Кладу в пепельницу и поджигаю. Это – жертва благодарения цифровому миру, обеспечившему нас работой. Я совершаю этот ритуал каждый раз после удачного вечера. Современные купюры горят отвратительно, приходиться поджигать и поджигать…

Если бы люди продолжали печатать и читать книги до сих пор, я бы в лучшем случае жарил дораду на гриле в каком-нибудь курортном отеле, в худшем – варил спагетти в забегаловках родного Будапешта. И шеф-поваром я не стал бы никогда: не умею руководить людьми. Но, слава Огню, уже давным-давно встал и ржавеет мировой печатный станок. Эпоха Гутенберга завершилась полной победой электричества.

В нашем мире продолжают печатать только деньги. Даже марки почтовые ушли в небытие. А купюры – живы…

В отличие от книг, деньги плохо горят. Поэтому на них и не жарят.

Удивительно, что наличные еще до сих пор в ходу. О, Ассигнация! Ты оказалась невероятно устойчивой в океане

электронных вспышек.

И все же: да здравствует Литература!

С тех пор как человечество перестало печатать книги и навсегда сделало лучшие из них музейными экспонатами, book'n'grill появился на свет. Люди всегда тянутся к запретному плоду. Девяносто процентов отпечатанных человечеством книг были сданы в утиль или просто выброшены на помойки, чтобы не занимали пространство в квартирах. А вот оставшиеся десять, осевшие в музеях и библиотеках, вдохновили лучшую часть человечества на удивительную страсть. Первый стейк был зажарен двенадцать лет назад в Лондоне на пламени первого издания "Поминок по Финнегану", выкраденного из Британского музея. Его приготовили и съели четверо великих мужей – психоаналитик, флорист, биржевой брокер и контрфаготист. Так родился book'n'grill. Это положило начало великой страсти, ставшей за эти стремительные годы великой традицией…

Мда, англичане в ту пору оказались "впереди планеты всей". Четверку джентльменов, подаривших миру новую моду, тогда окрестили "новыми битлами": трое из них совпадали именами с ливерпульской четверкой: Джон, Джордж и Пол. Контрфаготиста звали Грегор. И те, и нынешние стремительно ворвались в послевоенный европейский мир. Да, после войны всем, всем вдруг отчаянно захотелось *почитать*. Руки взломщиков потянулись к книгохранилищам, а гурманы и золотая молодежь – в первые подпольные *читальни*. Потом туда хлынули и обыватели. Это были золотые времена… Те, кто оказались тогда в нужном месте, срубили бабла по полной: второсортный повар, взятый из уличной забегаловки, за пару месяцев делал себе состояние. Мда, родись я лет на пять пораньше… В те сумасшедшие годы завороженный процессом народ не обращал внимание на качество. *Читали* тогда, что называется, "по диагонали": дым, копоть, воспарения. О качестве еды и говорить нечего: богатые дурачки, в одночасье ставшие гурманами, глотали сухой стейк из солнечника на "Старике и море", спаленную аррачеру на Дос-Пассосе и недожаренную свинину на "Швейке"…

Но уже через полгода, когда грабежи музеев и библиотек по всему миру стали заурядной новостью, человечеству пришлось объявить book'n'grill преступлением не только против культуры, но и против цивилизации в целом. Топор закона навис не только над поварами, книжными ворами и клиентами, но и гостями, возжелавшими попробовать каре барашка на "Дон Кихоте" или стейк из тунца на "Моби Дике". Первые судебные процессы были громкими и, естественно, завершились суровыми приговорами: человечество берегло свое культурное наследие. Просвещенная

часть человечества испугалась, что без музейной книги Homo sapiens окончательно превратится в обезьяну с айфоном в лапе. Так книгу занесли в Красную книгу.

И – прекрасно. Это сразу удесятерило цену за book'n'grill. Дилетанты отсеялись. *Читать* стали настоящие профессионалы. Появилась Кухня с традицией, ритуалом, иерархией, финансами, службой безопасности. Но и риск возрос. Люди стали получать крутые сроки. Подпольных поваров вообще вначале запихнули в реестр международных террористов. Это был, безусловно, перебор, но криминальный шлейф протянулся за нами, похоже, навсегда. И нам уже не отмыться, господа. Мы – кометы book'n'grill, и назад нет пути. На личном опыте признаюсь: кто держал шипящую говядину над пылающим Шекспиром, купленным под дулами пистолетов, кто стоял в белоснежном колпаке, глядя на лица внимательно жующих толстосумов, аристократов, политиков, бандитов и актеров, кто получал увесистую "котлету" в конверте за свой труд, – тот никогда уже не встанет к плите в обычном ресторане. И над всей этой роскошью нависает топор закона. Пар от шипящих стейков конденсируется на его холодном лезвии, капли предупредительно падают нам на головы: кап, кап, кап… 6 лет, 9 лет, пожизненная… Меня эти капли уже не пугают, но дисциплинируют. Я опытный, *поджарый* зверь. Слежу за своей формой, оглядываюсь, принюхиваюсь, делаю петли, заметаю следы. Риск, риск. Но что такое жизнь без риска? Овсянка с джемом, заурядная работа за заурядную зарплату, пенсия, старость, могила…

Сигарный дым, хорошая музыка + красивые женские фигуры в полумраке вызывают прилив воспоминаний. Помню мою первую гриль-парти. Послевоенная Варшава, *походная* кухня в бетонном подвале, стол, сервированный на троих, зев полукруглой жаровни, три перепелки, распластанные на решетке, мои руки в белых перчатках, вынимающие из чехла "Записки охотника", старик Zokal, стоящий рядом, ободряющий прищур его заплывших глаз: "Мой мальчик, все будет хорошо". Он выпускал меня в свободное плавание. Это был мой диплом book'n'griller.

– Молодой человек, вы первый *русский* повар, которого я встречаю, – произнесла тогда дама, узкое лицо которой я никогда не забуду.

– Надеюсь не разочаровать вас, мадам, – ответил я в духе моего любимого Дживса, хотя внутри у меня все тряслось.

Книга была украдена у одного львовского букиниста, причем ворам пришлось слегка проломить ему башку. Слава богу, он выжил, на *мокрых* книгах жарить у нас не очень принято.

Мне повезло тогда: Тургенев горел превосходно, мой первый серебряный эскалибур мелькал и сверкал, перепела шипели, клиенты наслаждались зрелищем. Spectacle в нашей профессии не менее важен, чем результат. Клиенты хотят видеть завораживающее огненное шоу, без дыма и вони. Как наставлял нас Zokal: “Помните, вы должны создать и поддерживать в жаровне процесс, напоминающий пролет колесницы Юпитера по утреннему небу!”

Половину долларовой “котлеты” я отдал тогда учителю. На другую половину, как водится, устроил вечеринку для бывших поварят из гнезда Zokal. Мы сняли за гроши какую-то ржавую баржу, поставили на палубе стол, завалили его снедью и выпивкой, наняли двух аккордеонистов и поплыли по Висле. Из семи поварят я был единственный *русский.* Трое жарили на английских книгах, двое на французских, один на испанских. Надо мной хоть и подтрунивали, но уважительно: я рисковал, *русский* гриль тогда еще не был раскручен. Великие мастера Mohno и Рубинштейн тогда еще только начинали заявлять о себе. Но проницательный Zokal мудро сориентировал меня: русская литература. И как я ни упирался, он меня уговорил. По-отечески: пара затрещин помогла. Миф русской литературы оказался сильней моих страхов. И все получилось у поваренка. Он стал трехзвездным.

В ту звездную ночь на Висле я страшно напился и блевал в реку…

Четырехгрудая татуированная девушка с длинной шеей и вытянутой дыней головой подсаживается ко мне, на тайском английском предлагает мне скрасить одиночество. Отвечаю, что предпочитаю классику.

Она молча уходит, цокая светящимися копытцами. И сразу же подваливают две *обычные* местные:

– Na Süßer, so einsam? Brauchst du Gesellschaft?[1]

– Warum nicht? Setzt euch doch, Mädels[2].

Садятся. Одна кладет мне руку на пах:

– Wie geht’s deinem Yul Brynner?[3]

Грубоватый берлинский стиль. Он мне по душе.

– Ganz gut! Er wartet auf euch[4].

Вообще, помимо главного языка мира, я сносно говорю по-французски, по-немецки и по-баварски, неплохо знаю венгерский и польский, а при помощи блохи свободно читаю еще на двенадцати языках. Вот с устным русским у меня проблемы. Это естественно – встретить русскоговорящего человека теперь уже трудно. Я помню русских только в детстве, когда они приезжали к нам в Будапешт за работой. Им было тогда трудно, их титаник

“Постсоветская Россия” тонул. Мальчиком я услышал от одного пьяноватого русского что-то вроде исповеди. Он сравнивал русских с евреями: одних Бог лишил родины и рассеял по миру за то, что они распяли Христа, других – за то, что они распяли Человека. “Мы распяли в себе самих себя, распяли! – повторял он. – За это Россию засасывает черная дыра!” Признаться, я тогда не понимал, что он имеет в виду. Позже мне стало ясно. Но потеряв свой мір, русские быстро ассимилировались. И устроились не хуже других, надо сказать: трое известных book’n’grill chefs, жарящих исключительно на английских романах, – с русскими фамилиями. А перед одним из них – Лео Волкофф – я готов опуститься на колено. Этот парень моложе меня на десять лет, но уже стал звездой на нашей Кухне. Его прошлогоднее рождественское меню на Вирджинии Вульф не имеет аналогов – серия тончайших букетов, составленных из филе диких птиц и речных рыб, овощей, фруктов и запеченных с виртуозным мастерством. Говорят, когда под “Гимн Деве” Бриттена в жаровне Лео пылал “Орландо”, дамы плакали. Есть, есть на кого равняться…

Но шаг в сторону от вершин – возможен.

Как говорил Zokal – раз в жизни позволительно пожарить и на пошлятине, но только не на литературе второго сорта. Парадоксальное, но мудрое напутствие! Учитель наш был суров.

Что такое пошлятина?

Трубач (скрипач) на крыше, его острый и независимый профиль на фоне пламенеющего заката (восхода); грустный (веселый) клоун, настоящие слезы (улыбку) которого никто никогда не увидит; молодая (пожилая) героиня, мучительно вглядывающаяся в окна уходящего (прибывающего) поезда и повторяющая, словно в бреду: “Он все-таки уехал (приехал)”.

А литература второго сорта?

Массивный и невозмутимый, как каменная глыба, бармен с неизменной зубочисткой в зубах, протягивающий десять долларов Стивену со словами: “Ступай, засранец, купи себе чего-нибудь пожрать”; голый невзрачный мужчина, теребящий член перед зеркалом и шепчущий: “И за что же, сука, ты меня предала?”; девушка с мальчишеской прической, везущая чемодан к автобусной станции по громкой брусчатке и яростно бормочущая: “О, я вернусь, вернусь, но только для того, чтобы плюнуть на ваши могилы!”

Заказав девкам коктейли, договариваюсь о цене. Как и большинство *читающих* поваров, я холост. Расхожее мнение, что

все book'n'grillers сплошь голубые, не соответствует действительности. Банальщина. Так обыватели уже триста лет судят и о балетных труппах. Голубых у нас не более, чем в любом мужском корпоративном сообществе.

Я же предпочитаю вьетнамских девок. Но сегодня сойдут и европейские.

Через полчаса мы уже были в отеле, где женщины сделали мне *похорошо*, оплаченное добротной английской валютой.

14 марта

Утро: началось с ванны, завтрака и поездки за товаром. *Дрова* мне подвозят туда, где назначу. Когда был обычным поваром, мотался по подпольным рынкам. И схлопотал-таки в книжном развале в Падуе пару пуль в плечо. Которое теперь регулярно ноет к непогоде. Нынче – статус другой, могу себе многое позволить. Я только выбираю, *почтальоны* доставят книгу в нужное место. Букинисты у меня хорошие, уже два года с ними работаю. Еду сперва на метро, потом беру такси прямо на улице. Выхожу. И снова ловлю такси. Старомодно. Это – из моего прошлого, когда купленные книги возил сам. Дикие были времена…

С дорогой лучше подстраховаться. Я вообще перестраховщик. После тех двух пуль, трех обысков, двух перестрелок, трех "кукол", четырех мордобоев… Береженого Бог бережет.

Кройцберг. Подземная парковка. 4-й уровень, машин нет.

Мои *умные* блохи помогают мне. Их у меня три: красная, синяя, зеленая. Красная – самая важная, она ведает моим психосомо + вписывает меня во время + делает меня умнее; дорогая игрушка, 7-я версия, за сто тысяч новыми прыгнула в варолиев мост моего мозга полгода назад. Синяя, навигационная, пасется в волосах. Зеленая, информационно-коммуникативная, живет в ушной раковине. *Мягкими* ручными умницами я давно уже не пользуюсь. Весь навороченный блошиный комплекс обошелся мне в полтора годовых дохода. Но благодаря своим блохам я по сей день жив и здоров. К тому же теперь у меня в голове есть ВСЕ. При блошиной помощи я могу прочитать лекцию по новейшей теории Темных Полей, подробно рассказать обо всех известных апокрифических Евангелиях, опровергнуть уравнение неопределенности Шрёдингера при помощи формулы Камеямы или дать исчерпывающий ответ о технологии изготовления *умного* теста или самих этих блох. Сам же я вряд ли уже смогу помножить 17 на 19 и не вспомню, что такое интерференция. Так нас учили в школе, что поделаешь. В общем, всему лучшему в поварской жизни я обязан своим блохам: подскажут, предупредят,

спасут. Они видят не только окружающих людей, но даже насекомых. Много раз блохи предупреждали меня о реальных блохах и вшах, оставленных нечистоплотными посетителями в ресторанах. После войны их предостаточно. В одном афинском отеле они спасли меня от клопов.

Сейчас блохи цвиркают: все чисто.

Минуты не прошло – появляется белый джип букинистов. И тут же черный джип охраны. Синяя блоха пищит опознавательно. Чисто. Выхожу из-за бетонной колонны. Охрана высыпает, пищит своими умницами. Смешно смотреть старые блокбастеры, когда в руках у охранников были пистолеты. Теперь в этом нет нужды. *Мягкий* друг в руке нынче важнее пистолета…

Букинистов двое – Марсель и Валид. Первый – марокканец, второй – египтянин. Русские "дрова" они возят уже лет пять. И очень поднялись, надо отметить. Мода, мода… Конечно, если такие мастера, как Рубинштейн, Волкофф, Мацудзава, формируют ее, как тут не подняться?! Да и я тоже – не из последних. Марсель с Валидом на мне неплохо зарабатывают. Надежным букинистам я щедро плачу. Они стоят того. В нашем деле лучше переплатить.

– Bonjoure, Geza!

– Salut, les mecs!

– Ça va?

– Nickel!

С ними я говорю по-французски. Марсель коренастый, бритоголовый. Валид худой и тоже бритоголовый. Хорошо одеты, следят за собой. Без слов открывают багажник джипа. Там два металлических кофра. А я надеваю белые перчатки. Цветные, татуированные пальцы букинистов щелкают замками:

– Voilá!

Сегодня в этих кофрах Чехов и… Чехов. Чехов! Только Чехов. Два собрания сочинений + отдельные издания рассказов в бумажных обложках. Они идеальны для быстрого *чтения* — креветки, лягушачьи лапки, поросячьи уши… На Чехове я жарю всегда с удовольствием. Легкий автор. В свое время он был массовым писателем и выходил на недорогой бумаге средней толщины. С ней проблем нет, она горит не быстро и не медленно. Это хорошо для мясных блюд. Но брать собрание сочинений не входит в мои планы. Стиль этих двух ребят – показать сперва что-то новенькое, удивить клиента, а потом – впарить. Хотя заказ был другой. С ними не соскучишься.

– Почем "Степь"? – беру и открываю книгу 1908 года издания.

Как от нее пахнет, боже мой! Я люблю раскрыть *полено*, втянуть носом запах освинцованных страниц. Навсегда ушедший мир… "Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана…", как

писал поэт и тут же подсказывает блоха. Все-таки жаль, что не принято жарить на поэзии: я бы с удовольствием отгрохал классный банкет на раннем Пастернаке.

– Две тысячи.

– А “Шведская спичка”?

– Пятьсот.

Торгуемся. Покупаю “Степь” (на ней сделаю хороший стейк для одного американца) и четыре отдельных издания рассказов (пригодятся на парижских гастролях). Не спрашиваю о заказе. При общении с букинистами нужна выдержка и неторопливость. Если будешь суетиться – цены враз поползут вверх.

Держу паузу.

Валид с Марселем переглядываются. Достают еще один кофр, маленький. Щелчок замка – и вот оно: первое издание “Мертвых душ”. Я ждал эту вещь четыре месяца. Беру книгу в руки. Она в хорошем состоянии, цельнокартонный переплет, желтая веленевая бумага. *Полено* будет иде-е-е-е-а-а-ально для рибая и для любой рыбы. За *чтение* на “Мертвых душах” можно легко слупить штук 15. Теперь – спокойно, без суеты и притворства. Мои букинисты – профессионалы, их на блефе не проведешь. И сперва их обязательно надо похвалить:

– Прекрасно, парни! Крутая книга! Чувствую, вам пришлось потрудиться?

Они самодовольно переглядываются.

– Без труда такую красотку не заарканишь, – Валид усмехается, обнажая ослепительные зубы.

– Мы пасли ее полгода, – произносит Марсель так, словно в кофре лежит уссурийская тигрица.

Но это и есть тигр в переплете из слоистого картона, занесенный в Красную книгу всех библиомузеев мира. Листаю страницы:

– Надеюсь, в этот раз обошлось без членовредительства?

– Не надейся, Геза! – смеются.

– Опять кровь?

– Просто пара ударов по печени.

– Опять? Ну-ну…

Мда, в нашем міре отдельные люди все еще дорожат книгой и не доверяют раритеты музеям. Хранят на свой страх и риск. А букинисты доверяют мне. Но лучше не лезть в подробности – крепче будет сон.

– Сколько?

– Пятнадцать.

Я умею торговаться. Еврейские гены. Спокойствие. Выдох. Неторопливое перелистывание нежнейших страниц цвета чайной

розы:

– Парни, эта книга стоит не пятнадцать (пауза), а двадцать штук. Но если бы вы попросили двадцать пять и они были бы у меня сейчас, я бы не торгуясь отдал их. Это – реально крутое *полено*. Дело в том, что у меня сейчас всего тринадцать. Сезон не очень доходный, признаться. Личные проблемы, пришлось потратиться. Три штуки готов отдать за Чехова. Это – черный хлеб, быстрый походный гриль. Остается десятка. Могу не покупать Чехова и бухнуть все на Гоголя. Могу и… просто облизнуться.

Они думают. Подстегиваю:

– Вечером я улечу из Европы. На ближайший месяц у меня дровишек хватит. Подумайте.

Марсель наносит ответный удар:

– Геза, Джексон или Борислав дадут за “Мертвые души” пятнадцать штук не торгуясь.

Парирую:

– Дадут! Но Джексон сейчас завис в Аргентине с лионской библиотекой, а Борислав уже вторую неделю *читает* собрание Толстого для трех французских семей. И это надолго. Он медленный *читатель*, вы знаете. Старики заняты, а молодежь успешно жарит на дешевом Серебряном веке: Сологуб, Белый, Мережковский… У них горит хорошо и без Гоголя. Молодые такое *поленце* не потянут. Подумайте, парни.

Пауза. Молчат. Им и переглядываться не надо.

– Четырнадцать, Геза.

– Парни, тринадцать – и по рукам.

Недолго жуют губы.

– D’accord.

Жму руку Валиду. Передаю ему деньги. Марсель *мнет* умницу, и через несколько минут въезжает бронированный хаммер “почтальонов”. Охрана выходит, пищит умницами. Вылезает почтальон. Почти всегда они разные, сеть их “почты” покрывает мир. Сегодняшний почтарь – невысокий парень мексиканской внешности. Лицо его не выражает ничего. Почтальоны надежны, ибо живут за счет нас – букинистов и поваров. Суровость и беспощадность их по отношению к книжным пиратам стали притчей во языцех. С одного румына, изготовившего у себя в подвале “первое издание «Дон Кихота»”, они живьем содрали кожу, сделали из нее переплет и положили книгу в гроб несчастному – под голову. В книге на всех страницах было напечатана одна фраза: Anathema maranatha. С ними лучше не ссориться…

Блоха моментально согласовывает место и время по нашему

кухонному листу ожидания. На “Мертвые души” клиент нашелся в секунды. Сообщаю мексиканцу место и время доставки. Мой график расписан на четыре месяца вперед. (А у великого Волкофф – на два года!) Цены у почтарей по Европе стабильные, торговаться не приходится:

– Штука + прогонные.

– D’accord.

По ритуалу я должен передать “посылку” почтальонам в присутствии букинистов. Причем букинисты должны стоять за моей спиной с поднятыми *зелеными* умницами, этим гарантируя подлинность товара. Так и происходит. Содержимое кофра почтарям никогда не показывается. Серебристый чемоданчик с “Мертвыми душами” передается в мексиканские руки.

Через десять дней он должен всплыть в Трансильвании.

Жмем друг другу руки, расходимся.

День: ланчую в суши-баре отеля, заказываю такси, еду в аэропорт.

Берлин мне нравится своим пространством и городской неагрессивностью. Несмотря на распахнутость – спокойный город. Пережил все войны. По спокойствию он похож на Будапешт, но гораздо разнообразнее: турецкие, арабские, русские, китайские районы. Я *читал* здесь уже раз сорок, и все удачно. Публика спокойная, респектабельная…

А ведь в нашей профессии неожиданности – обычное дело. Мы всегда готовы к потрясениям. В Гуанчжоу одна пара, сбросив одежды, улеглась на стол и стала совокупляться, поедая чизбургер, приготовленный мною на “Лолите”. С “Мадам Бовари” у одного повара в Марокко было еще круче – amour à trois. И ставшее уже печально знаменитым убийство клиентом своей беременной жены и тещи на чтении по “Преступлению и наказанию”. Из-за сумасшедшего идиота с топором достойный повар получил пятнадцать лет.

Аэропорт берлинский тоже дышит пространством и покоем…

Вообще, аэропорты, отели, вокзалы, пункты проката машин – для нас очень важны. Это, конечно же, не родные дома, но хотя бы – прихожие… Уже девятый год как у меня нет постоянного угла, есть лишь несколько чемоданов с одеждой и оборудованием, которые кочуют со мной по миру. И так живет каждый book’n’grill chef. Шесть паспортов на разные имена, мои пальцы могут менять отпечатки как перчатки, прошу прощения за каламбур. Со мной три блохи, мои верные сторожевые сучки. Благодаря такому образу жизни, я до сих пор на свободе. Это –

чудо. Но оно не может длиться вечно. Поэтому на безопасность я отстегиваю прилично: технологические совершенства, экстрасенсы, астрологи, обереги, молитвы монахов, подкуп чиновников в департаменте по борьбе с book'n'grill.

Зеленая блоха шепчет о начале регистрации на рейс, шлет сводку погоды в Токио, уточняет дальнейший маршрут. Синяя пищит о коридоре безопасности, свидетельствует о благоприятном расположении небесных тел. А красная, мозговая, просто делает мне *похорошо*.

Самолет полупустой. Похоже, великое переселение народов после Второй исламской революции и последующей за ней войны уже завершается. Это прекрасно: нам, поварам, спокойнее работать. Во времена революций и войн не до гурманства – народ хочет элементарно жрать…

Заказываю себе традиционный яблочный сок с газированной водой. В иллюминаторе – высокое небо над океаном облаков, напоминающих мозг Бога. Верю ли я в него? Трудно сказать… Скорее, я верю в изгибы своей судьбы, образующиеся под воздействием внешних и внутренних (моих) сил. Во внешних силах иногда присутствует нечто светящееся в белом. Назовем его Фатум. Природа его мне до сих пор неясна. Но я его *чувствую*. Возможно, он состоит из Темной материи, на которую сейчас принято все валить. Исламскую революцию некоторые эзотерики тоже объясняли влиянием Темной материи. Правда, политики к ним не очень-то прислушивались: против влияния Темной материи человечество пока предпочитает применять бомбы…

В общем, пока я верю в Провидение и в своих трех блох.

Моя судьба извилиста. Я родился в Будапеште тридцать три года назад в семье белорусского еврея и польской татарки. Родители мои бежали: отец от православных фундаменталистов, мать – от исламских. Те и другие бородатые мракобесы хотели от населения любви и понимания, поэтому бомбили, жгли, резали и расстреливали нещадно. Родители встретились в венгерском лагере для беженцев, а потом обосновались в Будапеште, к счастью тогда оккупированном американцами. Вообще, Будапешт у родителей моих был синонимом счастья – спасение от мракобесов, любовь, рождение первенца, остров благополучной жизни, Sziget-фестиваль, где они танцевали обнявшись. Наверно, поэтому они и дали мне венгерское имя – Геза. Хотя мать объясняла это просто красотой звучания. Отец же никак не мог это объяснить.

Фамилия моего отца – Яснодворский – связана не с дворянскими родами поляков или русских, а с литовско-белорусским местечком Ясен Двор, где триста лет проживали

наши еврейские родственники. Они дважды оттуда бежали: в 1906 году, после еврейских погромов, и в 1941-м, спасаясь от эсэсовской айнзацкоманды. Но потом возвращались в своей милый Ясен Двор, где, по словам прадедушки, “каждой весною так пахнут яблоневые сады и переполненные сортиры, что просто-таки натурально сходишь с ума”.

Мой отец был известным в Белоруссии антропологом, весьма рано сделавшим себе карьеру профессора на древнеславянской теме. Будь он попластичней, то никуда бы не убежал от “этих бородатых мудаков”, а спокойно тянул свою академическую лямку, благо тема его была им идеологически близка. Но его выступление на парижской конференции антропологов “О готских корнях белорусов” потрясло антропологическое сообщество и вызвало вопросы у минского православного КГБ. С папашей мягко поговорили, попросив на следующей конференции в Любеке дезавуировать собственные изыскания. Пойти на это он не смог “чисто по научным соображениям”. Будучи тогда человеком бессемейным, папаша, не доехав до Любека, сошел с поезда и добрался до венгерской границы. Почему он не остался в Пруссии? Внятно объяснить это отец мне не мог, отшучивался: чтобы встретиться с твоей мамой. На самом деле, просто его знал и любил ректор Будапештского университета, и кафедра антропологии сразу же дала ему профессорское место. Свои лекции он читал по-английски. Дома мои родители говорили исключительно по-польски. По-русски и по-белорусски отец только ругался. По-венгерски он знал несколько слов. Как говорится: “nem tudom, и то с трудом”. Родившись, я жил в двуязычном пространстве. Но проучился в венгерской школе только четыре года: американцы после печально знаменитого Трансильванского мира покинули страну, и вторая волна Второй исламской революции накрыла Восточную Европу и нас. Мы бежали. На этот раз – в Баварию, которая принимала восточноевропейских беженцев. Полгода мы скитались, затем отец получил-таки хлипкое местечко доцента в университете Пассау, а мать устроилась туда же в профессорскую столовую. Она прекрасно, надо сказать, готовила, и кулинарные способности мои – от нее. Отец был способен приготовить только два блюда: яичницу и картошку в мундире…

За три года жизни в Пассау я научился говорить по-немецки и по-баварски, играть в баскетбол, Blub, Red Lizard, Dйdьl, водить танк, ставить мины и разминировать, стрелять из пистолета, винтовки, автомата и пулемета. На мое четырнадцатилетие отец сделал нам с мамой “подарок”: влюбился в свою коллегу, старше его на восемь лет, и вместе с ней уплыл в благополучную

Австралию. Мать это сильно подкосило, и она запила, хотя раньше прохладно относилась к алкоголю. Она была сдержанной мусульманкой из интеллигентной семьи крымских татар, осевших в Кракове в начале века после захвата русскими Крыма, запрет на алкоголь ее никогда не касался. Больше всего ее угнетало, что отец выбрал “старую академическую клячу”.

– Если бы он сбежал с молодой – я бы поняла и простила, – говорила она. – Но с этой?!

Мама подсела на страшный коктейль, за полгода сделавший из нее алкоголичку: апельсиновый сок с баварской фруктовой водкой под названием *Himbeergeist*, в переводе неприлично звучащим как “Малиновый дух”. Этим малиновым духом пропахло мое отрочество. Безусловно, маме было отчего запить: драматическая актриса, брошенная мужем на чужбине с подростком, вынужденная зарабатывать кухаркой. В Варшаве она играла в театре роли вторых планов. Звездой сцены она не была. В Будапеште из-за незнания венгерского ей пришлось забросить свою профессию, в Баварии в те суровые времена было не до театра, хотя один раз мама сыграла саму себя, то есть восточноевропейскую беженку, в одном пропагандистском ролике. После бегства отца маме не везло и на мужчин, хотя она была вполне симпатичной женщиной. Но почему-то баварские мужики ее сторонились. Наконец один рано поседевший серб-ветеран из военизированной охраны университета положил на нее свой единственный глаз, они стали встречаться, но оказалось, что он женат. Маму это не смущало, но выпивать она не перестала. Возвращаясь за полночь от серба, она принимала душ, надевала голубенький халат и со стаканом своего “духовного” напитка, как в ванну, садилась в голограммы. Ванны, кстати, у нас в Пассау не было… Ее быстро пьянеющее лицо в светящейся мешанине известных людей, дворцовых интерьеров и тропических пейзажей – мое стойкое детское воспоминание, от которого уже никогда не избавиться. Мне сильно не хватало отца, поэтому с матерью я был колючим, вечно ей противоречащим подростком. Когда она кричала на меня, я комментировал: “Громче, мама, громче!” Когда грозила: “Выгоню на улицу!” – демонстративно собирал свой зеленый рюкзак. Когда запирала в кладовке, чтобы “подумал о своем поведении”, отзывался через пять минут: “Мама, я в темноте такое придумал, хочешь, расскажу?” Когда за провинности она лишала меня *мягкой* умницы, как в старые времена лишали детей сладкого, я брал кусок пластилина, садился напротив мамы и сосредоточенно давил на пластилин пальцами, имитируя мою любимую игру Red Lizard. Однажды во время обеда она попрекнула меня дармоедством. Я сунул себе два

пальца в рот. Больше мама меня не попрекала. Иногда я откровенно изводил ее, о чем сейчас жалею. Но, несмотря на все мои выходки, мать ни разу не подняла на меня руки.

– Геза, ты вырастешь идиотом, – повторяла мать.

– Мама, в папу или в тебя?

А на пятнадцатилетие уже мама в свой черед преподнесла мне “подарок”: попала под военный джип на тихой улочке возле университета. Причем она не была пьяна. Был пьян водитель джипа. В клинике она прожила недолго, тем более что баварские врачи несильно тратились на беженцев – новой печени для мамы не нашлось. Сидя в палате реанимации напротив нее, я не испытывал никаких чувств. Случившееся с ней казалось мне частью нашей глупой, бездарной и безумной жизни, к которой я уже привык. На похоронах у меня не было слез. Всплакнула только мамина партнерша по работе на кухне, очень толстая баварка. Одноглазый любовник-серб стоял как столб. Отец, естественно, не прилетел на похороны из своей Австралии, отделавшись скромными деньгами. Маму закопали на аккуратном кладбище в Пассау. Слезы пришли ко мне неожиданно, когда вечером дома я вошел в ее старую, довоенную, похожую на ватрушку умницу, липкую от любимого маминого коктейля. Избранная голограмма погрузила меня в мир маминого душевного комфорта. Это был один польский сериал, снятый сразу после войны, – “Новая семья”. Умница доложила, что мама посмотрела его… 65 раз! Она просто купалась в этом сериале. Это история двоих. Он – польский француз, майор, потерявший обе ноги в “бухарестском котле”, герой, брошенный женою, петух, плейбой, алкоголик, дебошир и бильярдист; она – французская иранка, беженка, красавица, потерявшая под английскими бомбами в один миг пол-лица и всю свою семью, устроившаяся в массажный салон, ходящая в маске, живущая прошлым, тщетно собирающая деньги на новое лицо. Оба – огрызки послевоенного мира, скатывающиеся с карусели жизни: он неудачно пытается ограбить подвал с игральными автоматами, бежит, вернее – улепетывает зигзагами на коляске (у него нет денег не то что на новые ноги, но даже на протезы), скитается, колесит по Лангедоку и становится сторожем на пасеке; она калечит пьяного клиента-лейтенанта, пытающегося ее изнасиловать, тоже бежит и устраивается где-то под Брно в прачечную для *умных* простынь. Днем он сторожит ульи от арабских беспризорников, она стирает *умные* простыни, а по ночам у них много времени, они находят в Паутине целевую игру NOWA RODZINA *4* и начинают в нее играть, встречаются в этой игре, женятся и образуют семью. Ее лицо без маски, признаться, впечатляет: одна половина

прекрасная, другая – ужасная, осколок “умной” бомбы вырвал ей скулу. Естественно, в игре они – такие, какие есть, в этом суть: он – без ног, она – без пол-лица. Игра должна им помочь заработать – каждому на свое. Для этого они “заводят хозяйство”, ведут семейную жизнь, переходя на все новые уровни. Днем же течет их реальная жизнь: развешивая *умные* простыни на веревках, она поет грустные песни на родном языке, он же мрачно ездит между синих ульев с автоматом на груди. Его играет классный актер. Она – женственна, трогательна и беззащитна, с нежным именем Лейла. Отличная сцена, когда к нему ночью на пасеку забираются трое арабских беспризорников, он ловит их, фиксирует. Подростки признаются, что они просто хотели попробовать меда. Врут, конечно, они хотели стащить рамки с медом и толкнуть их на базаре. Он понимает, что врут, но вдруг, заперев их в сторожке, при полной луне открывает улей, достает рамку со спящими на ней пчелами, бережно счищает их гусиным крылом, возвращается в сторожку, режет рамку на куски, наливает три стакана молока, отрезает три ломтя прованского хлеба и дает это все воришкам со словами:

– Ваши отцы отстрелили мне ноги, а я вас за это накормлю. Жрите, сорванцы!

Мальчики едят сотовый мед, пьют молоко, он смотрит на них, пыхтя дешевой сигарой. Чувствительная сцена…

Проходит время, и по правилам игры их новая семья должна пройти последнее испытание, чтобы попасть в финал и получить каждый свое. Они должны сделать ребенка, вырастить и отдать в интернат “Новая семья”. Сперва между ними происходит постельная сцена. Диалоги – просто блеск. Она садится на него в своей маске:

– Андре, это делают так?

– Лейла, иногда это делают так.

Ребенок зачат. После девяти дней беременности она рожает мальчика, майор принимает роды, режет пуповину, вытягивает плаценту, обмывает младенца. Затем еще десять напряженных дней они растят мальчика до десятилетнего возраста, учат его читать, писать, пользоваться умницей, играть в шахматы, стрелять из пистолета и автомата. У них все получается, мальчишка огребает высший балл. И они, счастливчики, выходят в финал. Им предстоит последнее – уже в реальности добраться до клиники в Риме за сутки исключительно своим ходом или личным транспортом, строго к определенному времени. Он арендует инвалидную машину-развалюху, она берет напрокат скутер. Он доезжает, она же попадает в аварию и оказывается в клинике для беженцев, где ей попросту отнимают ногу, чтобы не

возиться с тройным переломом, как теперь часто бывает. Ему же приделывают новые, заработанные ноги. Через месяц он выходит из клиники на своих, попыхивая сигарой. Возвращается в свою часть героем, но на следующий же день напивается в хлам и избивает своего старого приятеля-сослуживца. Его с треском и навсегда выгоняют из армии, он пьет, спит с проститутками и дебоширит в кабаках и бильярдных. Протрезвев, он вдруг вспоминает ее. Что с ней, он не знает. Знает лишь, что она не опоздала, а вообще не приехала в клинику. Он начинает о ней думать, вспоминать, и так это его забирает, что решается разыскать ее. Узнает, что с ней стряслось. Она же, по-прежнему без половины лица и теперь еще без ноги, работает теперь уже в обыкновенной прачечной. Найдя эту прачечную, он ждет конца ее рабочего дня, следит из-за угла. Она выезжает из двери на коляске, на ней все та же маска, левой ноги нет. Она едет по улочке, он идет следом. Она покупает еду, едет к себе домой, он порывается с ней заговорить, но что-то ему мешает. Он провожает ее до убогого квартала, до самой конуры, в которой она ютится. Но так и не решается с ней заговорить. Идет в кабак, пьет. И судя по выражению его лица, совершает в себе некую работу. Ночью он проникает в ее халупу, усыпляет ее маской, выносит на плече, садится на скутер и отвозит ее в PSG-клинику. В клинике врачам он предлагает сделку: левую свою ногу на ее лицо, а правую – на ее левую ногу. Ноги у него от Vulcanus, они в цене. В клинике идут на сделку: ему ампутируют дорогие ноги, ей восстанавливают лицо и пришивают новую ногу. Она просыпается после наркоза, он въезжает к ней в палату на коляске с букетом тюльпанов. Она молчит, потрясенная. Он кладет тюльпаны ей на кровать. После долгого наркоза она думает, что они еще в той самой бонусной клинике, где им должны все сделать. Она трогает свое новое лицо, смотрит на него:

– Андре… они что… еще не пришили тебе ноги?

– Лейла, не в ногах счастье, – отвечает он.

И вот здесь, на этой дурацкой фразе, я вдруг сильно, по-настоящему разрыдался, слезы ручьем хлынули на мамину умницу, пропахшую малиновым духом, и все текли и текли…

За ту ночь детство вытекло из меня полностью.

Назавтра я собрал свой зеленый рюкзак, сдал ключ от комнаты и двинулся в сторону вокзала. Переходя мост, бросил мамину умницу в Дунай.

Так началась моя кочевая жизнь. Которая продолжается по сей день. С папашей я с тех пор больше не общался. Хотя пару раз читал в Австралии.

Раскладываю кресло и погружаюсь в сон, обеспеченный

нежной деятельностью красной блохи. Я заказал ей простые приятные сны. Без ностальгии. Без малинового духа.

Хорошо высыпаться в самолете – тоже часть нашей профессии…

15 марта

Утро: небо аэропорта Нарита затянуто облаками. Я прекрасно выспался и готов к подвигам во имя пиромании + гастрономии. В Японии читаю уже двенадцатый раз, как подсказывает зеленая блоха. Мода на русскую прозу никогда не покидала Страну восходящего солнца, так что уместнее говорить уже не о моде, а о традиции. И японские читатели поистине благодарные – почти всегда мне давали приличные чаевые, а один любитель креветок на “Дяде Ване” подарил набор элитных чаев.

Сегодняшнее чтение – трудоемкое. Тройной гриль: “Подросток” Достоевского, “Чевенгур” Платонова и сборник рассказов Зощенко. Соответственно: стейк из мраморной говядины, молодые кальмары, стейк из морского черта. Придется повозиться. Трудности меня возбуждают и мобилизуют.

В аэропорте пересаживаюсь на маленький, уютный джет, присланный клиентом за мной. Блоха синяя цвиркает, что лететь всего 24 минуты. Прекрасно. Взлетаем. Очаровательная стюардесса в пастельно-зеленом кимоно подает японский завтрак: рис, тушеные овощи, чай, мясо краба и натто – заквашенные соевые бобы. Их я обожаю. С горчицей и соевым соусом натто утром бодрит и обещает хорошее настроение. Вообще, японская кухня – одна из моих любимых.

Не успеваю разделаться с завтраком, как объявляют посадку. Смотрю в иллюминатор – летим над океаном. Начинаем снижаться. Вокруг – вода. Вроде садился не в гидросамолет. Но – мелькнул впереди крошечный остров. И вскоре джет чудесным образом приземляется на его узкой бетонной полосе.

Стюардесса открывает дверь, с поклоном предлагает мне сойти. Блоха безопасности обещает полное соответствие. Вдыхаю влажный ветер океана, схожу, ступаю на бетон. Здесь тоже пасмурно. Ветрено и влажно. Низкие серые облака, ветер мутузит пальмы. Меня встречает лимузин с водителем в красном пиджаке, фуражке и белых перчатках. Берет мой скромный багаж, открывает дверь. Сажусь на бежевую кожу сиденья, мы недолго едем по острову, минуем ворота, въезжаем на территорию с газонами и садом, подруливаем к дому: широкий, одноэтажный, в классическом японском стиле. Выхожу из машины. Вокруг – сад: *Ginkgo biloba, Zelkova serrata, Betula japonica, Celtis sinensis*. Зеленая

блоха любит и знает флору и фауну… У дома – огромный камень, омываемый чуть слышным водопадом и окруженный красивыми суккулентами. На пороге ждет девушка в кимоно. С поклоном приглашает в дом. Прохожу в свою комнату. В ней чисто и спокойно.

Время до работы проходит в мелких информационных попечениях; лежа и полузакрыв глаза, я дою свою синюю блоху, она отдает мне густое сетевое молоко. Затем меня приглашают отобедать. Покормить повара перед работой – святое дело. Меня потчуют все той же овощной закуской, сашими, супом из крабов и гречневой лапшой.

Проходит еще минут сорок, я облачаюсь и отправляюсь, что называется, на кухню. Здесь это просторный зал, с тремя грилями и узким столом напротив. За столом – три стула, сервировка на трех персон, хотя по предварительному договору клиент – один. Уже сюрприз. Ладно, там видно будет… Возле грилей – три металлических кофра почтальонов и три тележки с продуктами. Открываю кофры, достаю *дрова.* Все соответствует. Укладываю каждую книгу на свой гриль. Жарить придется по очереди – сперва бэби-кальмаров, потом морского черта и говядину. Готовлю все для процесса: спички, эскалибур, щипцы, решетки. Ничего лишнего. Все, все должно быть просто, все на виду: огонь, продукт и руки повара.

Кстати, о руках. Люди наивные полагают, что book'n'grill – это миф, созданный криминальным поварским сообществом для тупого зарабатывания денег, что никакого мастерства для этого не нужно и что любой более-менее умелый повар сможет приготовить стейк на "Нагих и мертвых". Это суждение напомнило мне рассказ одного молодого финского автогонщика по льду, который, услышав в баре насмешливые отзывы о его спорте от одного таксиста, просидевшего двадцать лет за баранкой и уверявшего автогонщика, что нет никакой особой техники езды по льду (да я каждую зиму езжу по льду!) и любой профессиональный водитель сможет так же гонять, просто пригласил таксиста на ледяной трек. Таксист пришел, сел за руль и на втором повороте вылетел с трассы.

Так и вы, господа. Попробуйте! И когда, задыхаясь от дыма и отмахиваясь от пепла, чертыхаясь и проклиная "дурацкую книгу", вы снимете с решетки почерневший и чуть теплый стейк, вы вспомните арабскую пословицу: легкомысленный человек подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом.

Звенит гонг, бумажные двери раздвигаются, и в зал въезжает инвалидная коляска затейливой конструкции. В ней полулежит японец во фраке, больной, как видно, рассеянным склерозом.

Коляска останавливается в двух метрах от меня. Японец невероятно худ, седовлас, с моложавым лицом, черты которого навсегда сползли со своих мест. Глаза его двигаются, руки неподвижны, покрыты полупрозрачными сенсорами.

– Приветствую вас, господин повар, – раздается в зале.

Склоняю голову в колпаке.

– Я рад сообщить вам, что готов насладиться вашим мастерством в полной мере.

Снова кланяюсь.

– Все ли готово у вас?

Киваю.

– Можете ли вы приступить?

– Я жду вашего распоряжения, сэр.

– Приступайте.

Раскладываю кальмарчиков на решетку, зажигаю спичку. Сиденье инвалидной коляски начинает подниматься. Клиент предпочитает наблюдать за процессом сверху. Интересно, как же он будет есть? Кальмары готовятся быстро, Зощенко писал вполне себе короткие рассказы, но “Голубая книга” немаленькая. 1935 год издания, грубый коленкор цвета сталинского неба. Открываю. Поджигаю титульный лист. И пошло.

Читать надо быстро.

Страницы шелестят. Эскалибур мелькает. Тельца маленьких, нежных существ шипят на огне.

Клиент – в воздухе, его глаза прикованы к жаровне. Тринадцать минут быстрого *чтения* – и я сбрасываю готовых деток кальмаров на блюдо, спрыскиваю их лимоном.

В зале появляются трое молодых японцев в черных костюмах, подходят, садятся за стол. Лица их непроницаемы. Клиент неподвижен на поднятом в воздух кресле. Лишь глаза его пожирают процесс.

Теперь только понимаю, *кто* реально будет есть за него. Японцы всегда немногословны. А я догадлив. Подхожу к столу, ставлю блюдо перед едоками. На столе перед ними уже три бокала с белым вином. Трое начинают есть. Возможно, их рты и желудки снабжены сенсорами, передающими ощущения хозяину. Но тогда бы из бессильного рта клиента хлынула слюна. Нет, он физиологически спокоен. Значит – только созерцание процесса. Да. Он разворачивает свое кресло, смотрит теперь на едоков. Пока они едят, изучаю его лицо. Несмотря на физиономическую смятость, лицо умное. Трое едят, не спеша, пригубливая вино.

Я солю розоватый стейк морской солью. Только с одной стороны.

Стейк, стейк, стейк. По очертанию – как огромная ночная

бабочка. Не подведи меня…

Все сложилось удачно, но трудности были: “Чевенгур”, бумага времен Ельцина качеством не отличается, пришлось поработать эскалибуром и даже пару раз отсасывал дым: fucken корешок + марлевые клапаны задымили. Мои пальцы *правильно* двигались. И подавили бунт на корабле…

Я разрезал готовый стейк на три части, спрыснул лимоном, крутанул мельницу с белым перцем. Два раза, не больше.

Подаю:

– Стейк из морского черта на “Чевенгуре” Андрея Платонова.

À propos, дикция у book’n’griller тоже должна быть на уровне.

Скрипнули ножи. Трое непроницаемых. Жуют. Молча, молча, молча. Картина Сезанна: “Едоки морского-черта-на-Чевенгуре”. Коляска клиента подъезжает к ним, кресло выдвигается. Перекошенное лицо приближается к едокам, словно объектив телекамеры. Они сосредоточенно жуют. А он смотрит на них в упор.

Мда… Сцена, признаться, впервые в моей практике. Но удивление для нас – слишком большая роскошь. Профессионал не должен себе ее позволять. Я невозмутим и доброжелателен, как бессмертный Дживс.

Процесс продолжается.

Мраморная говядина на “Подростке”. Стейк приличной толщины, это не аррачера. Книга в бумажной обложке. Внутри – тонкая любская бумага конца XIX века. Придется читать максимально быстро, “по диагонали”. Такое чтение – высший пилотаж, мастера любят жарить на тонкобумажных книгах, потому что это – чрезвычайно показательный процесс. Главное – найти оптимальную скорость горения страниц. Это определяется чисто интуитивно. Лихое чтение. У нас это называется “пыхнуть в глаза”. Но можно так пыхнуть, что книга сожжена, а стейк сырой. Плаха! И покатится голова в белом колпаке…

Но я пыхнул в глаза. В буквальном смысле. Клиент максимально приблизил свое лицо к жаровне, сполохи пламени плясали в его зрачках. Мои руки не дрогнули, “Подросток” отдал свое тепло широкому и толстому стейку, пронизанному мраморно-жировыми прожилками. Запах жареного мяса наполнил зал. Вытяжка, естественно, в нашем деле невозможна: малейший ветерок сверху способен разрушить все. Поэтому book’n’grill всегда осеняет это голубоватое облако. Назвать его дымом не повернется язык. Это облако – облако, рождающее шедевры подпольной кухни. Оно клубится и пахнет преступлением. Готовый стейк выплыл из него на белом блюде.

Объявляю.

Но когда трое принялись за него, из глаз клиента вдруг потекли слезы. Покончив со стейком, едоки встали, поклонились и молча удалились.

Мы остались одни – неподвижный плачущий клиент в своей коляске и я.

Жду похвал-замечаний + вопросов + комментариев + гонорара.

Клиент молчит. Слезы его беззвучно стекают по подбородку.

Пауза затягивается.

Но вот наконец:

– Вы бывали в токийском русском ресторане “Семь самоваров”?

Я думал, он спросит про авторов. О текстах Зощенко и Достоевского я бы и без блохи рассказал подробно, но вот платоновский “Чевенгур” для меня остался темным лесом. Я пытался читать это, но забуксовал. Дело там происходит в русской степи, где беспрестанно сталкиваются люди, лошади, пули и паровозы.

– Нет, я никогда не был в этом ресторане.

– И не ходите.

Смотрю на его лицо. Трудно сказать, кем он был раньше. Судя по всему – бизнесменом. А может – гениальным физиком? Генным инженером? Хотя, возможно, это и обычные фамильные деньги. Моя блоха про него пока ничего не насосала.

– Плохой ресторан?

– Да. Вы русский?

– Нет.

Однако, он старомоден: полагает, что национальность должна соответствовать профессии.

– Парадокс. В каждой мировой столице есть всего два русских ресторана: один – так себе, другой – плохой. Почему?

– Трудно сказать…

– Почему русская литература популярна в мире, а русская кухня – нет?

Никогда, признаться, не задумывался…

– Плохая реклама?

– Чушь.

– Русскую кухню трудно назвать здоровой. Много жирных блюд, мучных.

– В китайской и греческой их не меньше.

Он прав. Никогда не задумывался. Времени нет… Как для любого европейца, русская кухня для меня – это водка, икра + pirozhki. Ну, еще – борщ. Хотя, pardon, борщ – это украинское блюдо.

– Когда я был здоров и посещал Уральскую республику, тамошние чиновники пригласили меня в великолепный русский ресторан. Там была вся полнота старого русского застолья, времен Достоевского. Именно тогда я понял, почему русская кухня никогда не будет популярна в современном мире.

– Почему же?

– Она закрыта. А наш мир требует прозрачности.

– Закрыта в каком смысле?

– Вы никогда не узнаете, что содержит в себе салат оливье, из чего сварена solyanka, чем наполнены pirozhki и что внутри kulebyaki. Закрытый мир.

Он прав. Неожиданно и точно.

– Закрытый мир отпугивает современного человека?

– Конечно. Поэтому он требует суши, где все видно.

С этим не поспоришь.

– Прозрачность?

– Да. Особенно сейчас, после этих страшных войн и потрясений.

Вообще, я к русской кухне равнодушен. И тем не менее:

– Но ведь все скрытое притягивает?

– Только маргиналов.

Мне нечего добавить. И я точно не пойду в “Семь самоваров”.

Он молчит. Молчу и я. У японцев все всегда без внешних эмоций. Этот человек в инвалидной коляске только что совершил оч-ч-ч-чень странный акт. Но он спокоен. И его смятое, как рисовая бумага, лицо по-прежнему ничего не выражает.

Я жду гонорара. Японец чувствует мое ожидание:

– Благодарю вас.

Двери расходятся, появляется все та же служанка в кимоно с подносом. На нем – *котлета.* С поклоном протягивает мне. Беру конверт, кланяюсь, как борец сумо после поединка. Коляска лихо разворачивается и увозит клиента из зала.

Finita.

Душ.

Массаж.

Самолет.

Вечер: вылетаю из Токио в Осло. Синяя блоха обеспечивает путь, зеленая пищит о полной безопасности, красная наполняет меня покоем и волей…

Все как-то слишком долго хорошо и благополучно. Как говаривал старик Zokal: “Так хорошо, что плохо”. Так бывает перед большим *наездом.* У нас на Кухне управление по борьбе с

book'n'grill называют "санинспекцией". Последний раз санинспекция побеспокоила меня семь месяцев назад. Вернее – мой временный апартамент в Пало-Альто. Зеленая блоха в очередной раз спасла меня – я испарился, а по-нашему *откинул спагетти* за десять минут до их прихода. Пришлось бросить все, даже эскалибур. Стальную дверь они прорезали за секунды. Вломились со своими железными псами. Но меня там уже не было…

У санинспекторов на меня давно сшито дело, это ясно. И не очень тонкое. Но наша *кухонная* служба безопасности тоже *мыла не ест*: я ежемесячно отстегиваю СБ три штуки на *смалец*. Это приличные деньги. Они идут в карманы чиновников из управления. Безусловно, при случае они меня возьмут, и ничего не поможет. Но все-таки – блохе капнули про наезд. Это хотя бы на время успокаивает. А вообще – на *смалец* сильно надеяться не нужно. В управлении порядочная ротация кадров, на смену подмазанным приходят молодые голодные волки, жаждущие погон и мяса поваров.

Так что – watch your back, Mister Book'n'griller.

В Норвегии я читал редко. Всего четыре раза.

Странноватая страна, и народ странноватый. Дело даже не в том, что русская литература им до лампочки. Норвежцы равнодушны не только к Тургеневу, но и к book'n'grill в целом. На старике Хэме или на Мопассане у них жарят не больше, чем на Тургеневе. Мировая мода их не очень коснулась. Они скупы, конечно, как и все северяне, но дело тут не в жадности, а в национальном характере. Норвежцы были замороженными еще до изгнания салафитов, а после этого им и вовсе круто отморозило кочаны. Три раза я читал у них, и каждый раз – что-то невообразимое. Последний раз – сельдь на чеховской "Степи". Глядя на серые, ничего не выражающие лица едоков этой жареной селедки, пропитанной дымком русской степи и чеховской грустью, запивающих все это аквавитом и ледниковой водой, я вспоминал фразу отца о норвежцах: "Нация, навсегда утратившая чувство времени и пространства". Но эта формула тогда не помогла мне разгадать загадку норвежской души. Как сын гуманитария, я послушал Грига, посмотрел Мунка и побродил по голограммам фьордов. Не помогло. Помогла, как у нас часто и бывает, гастрономия. После того удачного чтения я был приглашен моими серолицыми клиентами на фестиваль Lutefisk. Он случается у них регулярно на Рождество и собирает массу народа, готового есть не совсем обычное блюдо. Это вяленая треска, вымоченная трое суток в растворе соды, а затем припущенная в воде. Запах этого блюда напоминает о городской

канализации. Вкус – о том, что все мы смертны. Если lutefisk заказывают в обычном ресторане, то подают это под колпаком, чтобы запах не распугал посетителей. На фестивале же я попал в огромную народную харчевню, где двести человек ели только lutefisk. Амбре в зале стояло соответствующее. Много чего попробовавший в своей жизни, я с трудом осилил половину куска полупрозрачной, очень привлекательно выглядящей трески, запивая ее аквавитом и заедая ржаным хлебом с луком, но зато заглянул наконец в бездны загадочной норвежской души. Они дышали метафизикой. И меня впечатлили. Я навсегда снял все свои вопросы к норвежцам. Глядя на мою недоеденную lutefisk, серолицые тогда меня успокоили рассказом об исландском народном блюде – ферментированной, а попросту – тихо перегнившей в собственном соку акуле, которая хранится в бомбажных, вспученных банках, открывать которые рекомендуется только в пластиковом пакете и непременно в сортире. Эту желеобразную акулу положено намазывать ножом на хлеб и есть, запивая все тем же аквавитом… В общем, в Исландии, где я еще ни разу не читал, тоже все в порядке с метафизикой.

Но мы, материковые европейцы, все-таки придерживаемся наших традиций: свежая рыба, огонь, мелькающие страницы великого романа…

Спать.

17 марта

День: меня забирают из отеля. Я пришел в себя после перелета и даже успел прогуляться по городу и съесть на набережной тарелку рыбного супа. Погода солнечная, но ветреная. Умницы-блохи зудят покоем и добротолюбием.

Серый, как северное небо, “мерседес” уносит меня в пригород, едет по суровому пейзажу. Здесь еще только первые признаки весны. Деревья стоят голые, разломы каменных массивов громоздятся вокруг дороги, холодно сверкают на скупом солнце. После тепла Японии оказаться на севере. Потом – на юге. А после – снова на севере. C’est la vie! Сегодня мне в уши дует северный ветер, завтра в волосах зашевелится тропический муссон.

За девять лет я привык к климатическому маятнику. В моей красной, медицинской блохе есть программа психосоматической адаптации. Болеть мне не положено. Простуды категорически исключены. На мое тело надет жесткий корсет, сплетенный из дат и мест. Я должен быть всегда в форме, как Дживс:

– What would you prefer, sir?

– Говяжьи мозги на “Горе от ума”.

– Certainly, sir.

На поэмах, кстати, у нас готовят иногда. Я раз зажарил голубя на ахматовской “Поэме без героя” для двух белорусских лесбиянок. Со стонами они поедали его голыми на ложе, устланном лепестками белых хризантем…

А вот поэтические сборники – не в ходу. Это объяснимо, но все-таки – жаль: в России поэзию обожали во все времена, за три века вышло множество книжек. Большинство из них – карманного размера, легкого или полулегкого веса. Они были бы идеальны для быстрых *чтений:* соловьи на Пушкине, конские тестикулы на Маяковском, телячьи ноздри на Пастернаке.

Увы! Рынок наш диктует свои законы. Он беспощаден…

“Мерседес” несется, петляя плавно. Дорога удаляется от цивилизации. Лес, скалы, валуны. Ворота. Кованые, под старину. А может – старина? Расходятся. Мы въезжаем на лесистый участок. Сосны расступаются, возникает белая классическая усадьба с колоннами.

У лестницы меня ждет слуга в архаической одежде. С поклоном открывает дверь машины. Я выхожу. Слуга снова кланяется. Он густо бородат, в долгополом сюртуке, мешковатых штанах и сапогах:

– Прошу вас, господин!

Поднимаюсь по лестнице. В доме меня встречает пожилой придворный в одежде XIX века, ведет по анфиладе комнат, уставленных антикварной мебелью. Слышатся звуки рояля.

Мы подходим к белой двери, за которой играют что-то классическое. Признаться, я равнодушен к старой музыке и в ней совершенно не разбираюсь. И слуха у меня нет – даже блохи не помогли. И, по-видимому, никогда уже не будет.

Белая дверь открывается. Вхожу в просторную гостиную с роялем и старой мебелью. За роялем сидят трое – бородатый мужчина и дама играют в четыре руки, третья – переворачивает ноты.

Слуга громко объявляет:

– Ваше сиятельство, повар приехал!

Музыка прерывается. Бородатый встает, смотрит на меня, закладывает ладонь за ремешок, подпоясывающий длинную светло-серую рубаху с глухим воротом. Где-то я его уже видел… Дамы молча смотрят на меня. Они – молодые, с привлекательными интеллигентными лицами.

Клиент подходит ко мне. Протягивает свою свободную руку:

– Толстой.

Ну конечно. Пожимаю его большую, прохладную и

расслабленную руку. Очень, очень похож. Борода, нос широкий, кустистые брови. И глубокий, умный взгляд.

– Моя жена Софья Андреевна и дочь Таня, – он делает жест рукой в сторону дам.

Кланяюсь. Дамы кивают с улыбками. По-моему, они близнецы. На вид им лет по тридцать.

– Устали с дороги? – спрашивает клиент.

– Нет, граф, благодарю вас.

– Что ж, тогда… – он смотрит на большие напольные часы. – Обед у нас в пять. Нынче в пять, Сонечка?

– В пять, Левушка. Мы с Таней как раз доиграем сонату.

– Хорошо. Афанасий сейчас проводит вас в комнату. Отдохнете с дороги.

– Граф, я бы хотел посмотреть книгу.

– Да, да, конечно… Пойдемте со мной.

Он выходит из гостиной, дамы продолжают играть. Клиент идет по анфиладе, я – за ним.

– Все-таки Бетховен невозможный композитор, – произносит он на ходу. – Глухой человек способен придумать красивую мелодию, но придать ей совершенную музыкальную форму он неспособен. И от своей неспособности он злиться начинает, и долбит, и стучит, и гремит, и пускается в повторы. А наша публика ему за это почему-то аплодирует. Дураки и дуры. Мода, мода… Два модных человека нынче у нашей le public éclairé – Бетховен да Шекспир. Две раздутых посредственности.

Он вдруг резко поворачивается:

– Вот скажите мне, можете вы готовить с завязанными глазами? Как слепой?

– Признаться, я не пробовал.

– Ну вот… – он машет рукой и идет дальше по анфиладе. – А Бетховен, тетеря глухая, сонатки фортепьянные писал-писал, долбил-долбил… и надолбил.

Мы входим в кабинет. Клиент должен дать мне *полено,* то есть – книгу для *чтения.* И заказать блюдо. Случай нестандартный. Обычно *дрова* приходят по почте, а меню обсуждается заранее. Но случается в нашей практике и такое. Тем более что цена – в полтора раза выше обычной.

– Книга, книга… – он стоит над заваленным бумагами столом, по-прежнему засунув левую руку за поясок. – Это громко сказано.

Он действительно *очень* похож на Толстого. В наше время возможно сделать из себя кого угодно. Так что меня это не удивляет. Впечатляет подробность исполнения. Вероятно, вложения были немалые.

– Вот оно, – клиент выуживает из бумажного вороха тонкую стопку желтой бумаги, исписанной от руки широким, стремительным почерком, протягивает мне.

Беру. Мда, это не книга. Рукопись. По объему – рассказ. 34 страницы. Что же можно на этом приготовить?

– Вы сперва прочтите, а потом обсудим меню.

Прочитываю начало первой страницы:

Лев Толстой

ТОЛСТОЙ

Перевожу взгляд на клиента, но он опережает:

– Я только вчера закончил. Даже Соня еще не прочла. Присаживайтесь.

Он кивает на небольшой кожаный диван. Усаживаюсь с рукописью.

– А я пока делом займусь, – он отходит в угол кабинета, снимает с гвоздя кожаный фартук, надевает.

Только сейчас замечаю, что в углу стоит колодка с натянутым сапогом, а рядом – табуретка и столик с сапожными принадлежностями. Толстой усаживается на табуретку, берет молоток, зачерпывает из коробочки маленькие медные гвозди, сует их себе в рот, один гвоздик ставит на подошву сапога и с одного удара вколачивает. Вытягивает изо рта другой гвоздик и тоже вколачивает. Заметив, что я смотрю на него, поворачивается и внимательно подмигивает мне.

Начинаю читать:

Весна пришла к жителям правого берега великой реки, как всегда, неожиданно, как чудо и подарок, хотя ею уже давно и сильно пахло в воздухе, и осевший мокрый, рыхлый и потемневший снег дышал ею, и птицы беспокойно несли ее на своих крыльях, а люди, живущие в этом большом селе, встречаясь, произносили это свежее, радостное и такое нужное им слово все чаще и чаще, словно подгоняя ее приход.

Люди знали, что весну им принесет большой человек с левого берега. Он всегда приходил внезапно, хотя все его ждали, как ждут осенью снега, в засуху – дождя, а теперь – тепла и пробуждения уставшего от зимы мира. И в этот март люди поглядывали на реку, покрытую старым, вздувшимся льдом, втягивали ноздрями сырой воздух и произносили имя этого человека.

И человек пришел – с левого берега, как всегда, в разгаре дня,

когда солнце стояло в зените и дарило свое уже сильное тепло еще покрытой снегом земле, людям, зверям, деревьям и птицам, так хотящим весны. Как всегда, первыми его увидали крестьянские дети; быстрые и громкие, словно галчата, они выбежали на обрыв, и их голоса зазвенели в свежем воздухе:

– Толстой пришел! Толстой пришел!

Взрослые, услыхав детей, заспешили на берег, побросав дела свои. Женщины и мужчины, бедные и богатые, забыв про свои нужды и попечения, про то, что их разделяло, отталкивало, ссорило или соединяло, роднило и сближало между собою в жизни, спешили вместе к обрыву по истоптанному снегу, щурясь на солнце и радуясь, как может радоваться человек празднику.

Вскоре весь берег был покрыт людьми. Они стояли, глядя на реку, по которой шел большой человек. Сперва на том берегу развиднелась лишь точка. Дети первыми увидали ее. На первый взгляд, это мог быть обычный человек, решивший пересечь реку с левого берега на правый. Но обычный человек не пошел бы по торосам, а направился бы, как и все жители двух деревень левого берега, по проторенной дороге, которая уже вторую неделю как поплыла и полна была стоячей воды, так что ходить по ней надо было непременно в рыбацких сапогах или на деревянных ежиках-ходулях. Поэтому перестали уже ходить и ездить на санях, боясь полыней и играющего льда, который вот-вот должен был тронуться. Идти по торосам, не боясь старого, тающего льда, способен был лишь один человек. Точка с каждым шагом росла, и стало всем понятно, что это именно он.

– Толстой! Толстой! – звенели детские голоса.

– Пришел, пришел! – переговаривались в толпе.

Крестьяне молодые и старики, нищие, купцы и шорники, рыбники и лабазники, бабы и девки, русские и сомалийцы, грузины, татары и чеченцы, и даже две согнувшиеся от времени старухи-эфиопки толпились на обрыве, заслоняясь ладонями от яркого полуденного солнца, и смотрели на приближающуюся фигуру идущего. А она росла с каждым шагом. Лед вокруг нее блестел на солнце, торосы переливались искрами, словно множество огоньков воспламеняли наросший за зиму лед, норовя поджечь его и освободить уставшую дремать под ним реку.

– Пришел, батьюшко, не забыл нас, – шамкала большим ртом старуха-эфиопка, отирая слезы заскорузлой темной рукою.

– Не бросил… одарил… уважил, – кивали головами бабы, словно кланяясь идущему.

– Таперича и начнется! – подмигивал и толкал баб толстый и пьяноватый лабазник в распахнутом полушубке.

– Подоспело, стало быть! – тряс головой высокий старик-

рыбник, разевая беззубый рот и делая рукой рубящее движение.

– Всегда на удивление вовремя приходит, хоть часы сверяй! – одобрительно и серьезно смотрел богато одетый купец-грузин с золотой цепочкой на животе, в алых сафьяновых сапогах, с красивым и умным лицом.

Шестеро загорелых албанцев, только третий месяц как проживающих в селе, стояли вместе и смотрели на реку блестящими, черными глазами, быстро переговариваясь на своем языке. Чуть поодаль стояли две албанские женщины, молодая и постарше. Красивая, бледнолицая, чернобровая и черноглазая старшая стояла насупившись, явно недовольна, что ее оторвали от важного дела. Было видно, что она беременна. Смуглое, некрасивое лицо молодой было возбуждено и светилось той радостью ожидания чуда, которое случается в суровой и хлопотливой сельской жизни так редко, вспыхивая, словно радуга после грозы, и гаснет быстро и так же чудесно, едва люди заметили и обрадовались этому чуду. “Не пропустите же это чудо теперь!” – словно говорило всем это лицо.

А чудо было в том, что человек, пересекающий реку, рос и приближался с каждым шагом. И уже издали было заметно, что этот человек большой, необычный. Нагретый солнцем воздух дрожал и колыхался вокруг его возрастающей фигуры, торосы сверкали и переливались в солнечных лучах. Вскоре стал слышен и звук его шагов. Он шагал тяжело, сотрясая лед вокруг себя. Этот нарастающий, равномерный звук тяжких, мощных шагов заставил толпу притихнуть. Даже дети, все время галдящие и машущие руками и шапками, стихли и смотрели, раскрыв рты, словно считая каждый шаг. А каждый шаг делал идущего больше и сильнее. Люди на берегу смотрели и слушали шаги его.

Человек шел.

Едва он достиг середины реки, как раздался треск. Толпа на берегу ахнула, люди стали креститься и бормотать молитвы на своих языках. Именно этого и ждали они. Снова треснуло, затем – еще и еще. Послышалось шевеление, словно река рожала что-то большое и такое нужное всем. Блестящие на солнце ледяные торосы дрогнули.

– Пошла-а-а! – закричал лабазник, отмахнув шапкой, словно давая ледоходу команду.

– Пошла-а-а-а! – воскликнули ребятишки.

– Пошла, пошла! – закивали бабы головами.

– Пощла, матучка, пощла… – запричитали, крестясь по-католически, старухи-эфиопки.

– Даидзра! Даидзра! – гаркнули в толпе грузины, хохоча.

Албанцы возбужденно заговорили по-своему, повторяя

тягучее “э-э-п! э-э-п!”, беременная красавица смотрела на реку исподлобья и цокнула неодобрительно языком, а некрасивая девочка вся застыла в радости, открыв рот и с жадностью втягивая глазами происходящее.

Лед лопнул, затрещал и угрожающе задвигался сразу во многих местах. Но это не смутило идущего по нему человека, не заставило его ускорить шаг. Он продолжал спокойно свой путь, верша свое дело, прокладывая дорогу поперек не только реки, но и – ледохода, и – всей этой долгой, уже так надоевшей всем зимы. Поступь его была равномерна и уверенна. Позади него задвигались, треснули и стали топорщиться льдины, наползая одна на другую. Трещины расходились вокруг него с глухим, необычным звуком, бывающим только раз в году. Лед пополз, как живой, порождая тот ни с чем не сравнимый шум ледохода. Вскоре шум повис над пространством поймы, заполняя собою свежий и глубокий весенний воздух и становясь самим этим свежим воздухом над рекою.

Река пошла.

Толпа зашумела сильнее. Шапки полетели вверх, мальчишки засвистели, голоса мужиков и баб приветствовали идущего:

– Светоносец!

– Богатырушко!

– Батюшка родима-а-ай!

– Мшинди ва барафу умефика!

– Благодетель!

Но вскоре разноголосье слилось воедино, все вдруг словно вспомнили и сразу принялись повторять одно в такт шагам идущего:

– Толстой пришел и лед пошел! Толстой пришел и лед пошел!

Они твердили это с радостью, как молитву, повторяемую по праздникам много раз в своей жизни:

– Толстой пришел и лед пошел!

Дети и мужики, бабы и старухи повторяли и повторяли это, щурясь от солнца, радуясь до слез:

– Тол-стой при-шел! И лед по-шел!

Албанцы тоже старались повторить слова за всеми, ошибались, но принимались снова, улыбаясь одновременно грозно и весело, как могли только они. Русские, эфиопы и кавказцы же твердили свое так, словно стали одним человеком и этот человек теперь стоял на обрыве и приветствовал другого человека, идущего ему навстречу. А тот смело шел поперек реки, шел и шел. Он уже миновал середину русла, шаги его рушились все громче, оживший ледоход шумел за спиной, и с каждым его

шагом все следящие за ним понимали: приближается великан. Это заставило людей приветствовать его еще громче и слаженней. Как будто тот невидимый, составленный из этих людей человек радовался одновременно и самому приближающемуся путнику, и тому, что путник этот больше обычных людей, и что он на их глазах разбудил шагами своими спящую реку, и что идет он так смело наперекор всему по этому рушащемуся льду, и что идет он не просто так, а потому что ему есть дело до людей, живущих на берегу реки, дело важное, гораздо важнее рушащегося темного льда, дело, ради которого он и совершает свой опасный путь, и дело это – доброе и очень нужное людям.

– Толстой при-шел! И лед по-шел! – гремело с берега.

А великан уже был близко. Тонкий прибрежный лед не выдержал его веса, он с шумом провалился по самую шею, круша лед в шугу. Толпа охнула, но все это не смутило богатыря, – опираясь на ушедший в воду посох, по грудь, по пояс в воде, он так же неспешно стал выходить из реки на берег. Его последние шаги сопровождались всеобщим криком: великан пересек реку и разбудил ее. За его спиной по всей ширине русла вовсю уже двигался, шумел, трещал ползущий лед. Льдины лопались, наползая одна на другую, топорщились, словно собираясь вылезти из воды, и грозно рушились, дробясь. Весеннее солнце сверкало на их сколах и водяных брызгах.

Народ бросился вниз по скату с обрыва, навстречу великому гостю. Мужики и бабы, дети, сомалийцы и албанцы съезжали вниз по мокрому снегу и бежали к великану. И только две старухи, старик да беременная албанка остались стоять на обрыве.

А он, выбравшись из воды, широко шагнул на твердый берег. Первыми подбежали к нему дети. И сразу стало видно, насколько велик этот человек – дети оказались ниже его колена. Толстой был в три раза выше взрослого мужчины. Он вышел на берег и остановился, опершись обеими руками на посох. Вслед за детьми подошли и взрослые, кланяясь ему.

Тяжело и громко дыша после своей работы, Толстой смотрел на все с высоты своего богатырского роста. Он был одет в рубище, сотканное из толстых волосяных веревок, поверх было накинуто нечто вроде рыбацкого бушлата, сшитого из старого паруса, истрепанного ветрами Каспия, подпоясанного плетеным кожаным поясом с огромной медной пряжкой. С одежды путника потоками лилась вода. За спиной у Толстого висел короб, плетенный из широкого лыка. Он опирался на посох, сделанный им самим из вывороченного с корнем молодого ясеня.

Лицо Толстого было совершенно особенное: его можно было принять за гранитный валун, тысячелетиями перекатываемый

великими ледниками по земле и удивительным образом принявший форму человеческого лица с одновременно грубым и страдальческим выражением; лицо было безволосым; скулы, нос, губы, подбородок были словно сдвинуты со своих мест, голые надбровия выдавались вперед, а под ними шевелились, жили своей жизнью глубокие, темные, всегда блестящие от влаги глаза. Валун лица Толстого был таков, что ни один человек на земле не смог бы поднять и понести его.

Рыжеватые, клочковатые, словно пакля, волосы обрамляли это лицо, в волосах торчали огромные уши. Навсегда обветренные, потрескавшиеся грубые губы Толстого разошлись, и глубокий, сильный голос, словно гром, раскатился над головами людей:

– Здравствуйте, дети мои!

И в ответ, снизу раздалось вразнобой человеческое:

– Здравствуй, батюшка!

– Здравствуй, родной!

– Хелло, мту мкубва!

– Гамарджоба, дорогой!

Тяжело дышащий, смотревший все время перед собой, словно различающий лишь одну линию горизонта, Толстой опустил свои глубокие глаза вниз, на людей. Его взгляд встретился со взглядами смотрящих на него. Валун лица его треснул. Грубые, неровные губы растянулись улыбкой – кривой и по-детски беспомощной, словно это была гримаса готового расплакаться. Желтые, неровные зубы полезли из-под губ, как бивни исполинского животного.

Опираясь на посох, Толстой смотрел на людей, шумно дышал и улыбался. А за его сутулой, мокрой, исходящей паром на солнце и нагруженной коробом спиной двигалась, шумела, ползла разбуженная им река. Толстой оглянулся на нее, одобрительно тряхнул головой и пошел в село. Люди расступились, бежали рядом, не поспевая за ним. Ребятишки неслись, крича во весь голос.

Толстой шагал всегда одинаково широко и неспешно, отчего шаги его казались еще более великими и ужасными; слышно было, как сотрясается земля от них. На ногах Толстого были высокие унты, пошитые ему сибирскими староверами из четырех медвежьих шкур. При каждом шаге речная вода брызгами летела с них на толпу, солнце сверкало в водяных каплях, люди радостно смеялись брызгам, попадающим им на лица, словно вместе с рекой этот могучий человек будил и их самих, а они рады были этому и давно уж хотели проснуться.

– Толстой! Толстой! – кричали дети.

– Пришел, пришел… – повторяли взрослые, смеясь и радуясь.

Он же, в пять шагов преодолев пологий спуск к реке, вышел на околицу, перешагнул через плетень с наваленным за зиму сугробом, перемахнул огромную лужу и вырос посреди главной улицы села. Дворовые собаки, завидя и почуяв великана, залились лаем, и он слился с голосами людей. Опершись на посох, Толстой обвел улицу с домами взглядом и произнес:

– Счастье!

Голова его стала склоняться, плечи двинулись вниз; он поклонился и коснулся рукою снеговой каши большака. И люди села ответно поклонились ему.

Распрямившись, Толстой обвел всех взглядом, улыбнулся и произнес:

– Ну, где моя скамеечка?

– Там! Там, батюшка! Вон там! – закричали вразнобой голоса, и люди замахали руками и шапками в сторону лабазов.

Толстой глянул туда, вспомнил и зашагал, глубоко погружая посох в уже оттаявшую землю. Толпа бежала за ним.

– Вот и хорошо…вот и ладно… – гудел на ходу великан, дыша, как паровоз.

Возле рыбацких лабазов была площадь, снег на которой уже давно и заранее расчистили. Посреди площади возвышалась огромная, размером с деревенскую баню, лавка, сбитая из бревен. Это была “лавка Толстого”, ждущая его здесь каждую весну.

– Вот и скамеечка, – Толстой подошел к лавке, воткнул посох в землю, опустил руки и огляделся.

Селяне обступали его со всех сторон, образуя круг.

– Тепло, – произнес Толстой так глубоко и глухо, что все разом притихли.

– Тепло… – повторил он почти шепотом себе самому, переводя дыхание.

Народ молчал. Дети, бабы, мужики и старики смотрели на огромного человека. Не первый раз приходилось им видеть великана – большие люди заходили и в село, и на ярмарке в Астрахани бывали каждый год, а некоторые там и жили в своих огромных “доминах” с огромными женщинами, рожавшими больших детей. Но этот великан был не как все. Он был – Толстой.

В плетеном коробе за спиной у Толстого послышался звук, словно хрюкнул боров. Звук этот вывел Толстого и толпу из оцепенения. Люди зашумели и засмеялись. Толстой снова улыбнулся своей плаксиво-угрожающей улыбкой и стал стаскивать со спины короб. В коробе снова захрюкали.

Толстой снял свой короб, осторожно поставил на землю. И

опустился на лавку. Бревна затрещали под его весом. Дети, стоящие впереди взрослых, совсем близко подошли к коробу и лавке, их крошечные по сравнению с ручищами Толстого ручки стали трогать короб и унты. Толстой распахнул мокрый бушлат, и все увидели его большой живот, лежащий на коленях. Из-за этого могучего живота он и получил свое прозвище – Толстой.

В коробе уже сильно захрюкали и завозились. Дети вскрикнули радостно.

– Рвется, торопыха, – прогремел раскатисто Толстой, протягивая свои длани к коробу. – Скуча-а-ал по ва-а-ас. Бранился!

Дети засмеялись.

Толстой стал вытягивать огромный деревянный клин из берестяного замка короба. Руки великана были покрыты ссохшейся, потрескавшейся кожей, испещренной шрамами; на левой руке не было указательного пальца, Толстой еще мальчиком отрубил его себе, когда батрачил на Урале у богатой китайской вдовы. Руки у людей – как и лица их, многое отражают в себе и могут рассказать о человеке. По рукам часто видно, что за человек перед вами – скупой или жадный, спокойный или настороженный, открытый людям и миру или закрытый, обороняющийся от мира, в котором он оказался. Как и у лиц, у рук всегда есть свое неповторимое выражение, и оно не связано ни с профессией, ни с положением в обществе. Это выражение особенно видно и понятно, когда человек протягивает свою руку другому человеку или же когда он делает своими руками что-то не для себя, а для других людей.

Огромные руки Толстого тоже имели свое выражение. Они были всегда раскрыты и редко сжимались в кулаки. Они появились на этом свете, выросли и окрепли для того, чтобы – давать. “Подходи ко мне и бери”, – словно говорили эти руки.

Вытащив клин, Толстой откинул крышку короба, запустил туда руку и как в ковше экскаватора вынул из короба маленького, размером с собаку, мамонта.

– Вылезай, лохмата-а-ай! – пробасил Толстой, и дети закричали, запрыгали и захлопали в ладоши.

Мамонт просунул хобот между пальцами Толстого и затрубил. Взрослые засмеялись, дети запрыгали.

Мамонт был размером с овчарку, весь покрытый буро-рыжей шерстью; тело его пропорционально соответствовало телу взрослого мамонта, разве что спина горбилась сильнее, а волосатый хвост почти касался земли; голова же заметно торчала над телом, и макушка топорщилась шерстью, что придавало зверю комический вид. Необычным было еще и то, что из-под

хобота торчало не два, а три бивня: один – нормальный, большой, изгибающийся вперед размашистым полукругом, а два других – сросшиеся, кривые, не достигшие правильного размера. Маленькие глазки смотрели с выражением недовольного раздражения, втягивающий весенний воздух хобот поднимался и опускался, как бы не только нюхая, но и отгоняя от себя людей.

Едва мамонт отряхнулся, все дети и взрослые как по команде замолчали.

Мамонт фыркнул и вдруг запел дребезжащим, ни на что не похожим голосом:

– Love me tender, love me sweet, never let me go…

Толпа заревела от восторга.

Толстой поднял мамонта и поставил на крышку короба. Мамонт допел песенку до конца и хрюкнул.

– Во как, лохматай! – хохотнул Толстой, развел ручищи в стороны и хлопнул в ладоши так, что женщины и дети вскрикнули.

– Как живете-поживаете, дети мои? – спросил Толстой сельчан.

– Хорошо, батюшка! Живем, хлеб жуем! – раздалось в ответ.

– Добро пахтаете?
– Пахтаем, пахтаем!
– Зло пихаете?
– Пихаем, батюшка, пихаем!
– Душой говорите?
– Говорим! Говорим!
– На мир глядите?
– Глядим!

Он обвел их своим глубоким взглядом и произнес с таким облегчением, словно с могучих плеч его свалилось что-то очень тяжкое:

– Вот и хорошо.

Массивный подбородок его каменистого лица вдруг дернулся, губы задрожали. И он беззвучно заплакал, беспомощно подрагивая огромной головой. Но люди знали, что Толстой часто плачет, и в большей степени – от радости, поэтому никого не огорчили и не насторожили эти слезы. Наоборот – люди смотрели на плачущего Толстого все так же радостно, понимая, что эти слезы нужны и они такая же равновеликая часть этого могучего и доброго человека, приходящего в село каждую весну, как и его добрые, покрытые шрамами руки, громоподобный голос, кривая улыбка и широкая душа, готовая вместить в себя все человечество.

Мамонт на крышке короба похрюкивал и шевелил хоботом.

Толстой же постепенно пришел в себя, оглушительно шмыгнул носом и, не вытирая слез, вытекших из его глаз и проложивших по щекам два блестящих на солнце русла, произнес:

– Вот и ладно.

Лицо его вмиг просветлело, стало серьезным. Он помолчал немного, глядя на народ, а потом заговорил:

– Сейте добро, кропите добро, растите добро, жните добро, сушите добро, молотите добро, ссыпайте добро, храните добро, мелите добро, месите добро, пеките добро, преломите добро, делите добро, вкушайте добро. И будет вам всем хорошо. Добро – не зверь, не птица, не спящая девица, не свечка на ветру, не елка во бору, не облако в небе, не плесень на хлебе, не камень при дороге, не опухшие ноги, не умная машина, не рваная пашина, не темная ночь, не слепая дочь, не пьяная пляска, не стекольная замазка, не белый бурульбан, не рваный барабан, не старая рига, не бабушкина книга, не битый вор, не гнилой забор, не теплая постель, не красный коростель. Добро нам дается, чтобы со злом бороться, сила добра не имеет дна, как река полноводная, как волюшка свободная, как солнце на небе, как опара в хлебе, как

почки весною, оно всегда с тобою.

Люди слушали Толстого. Он прижал свои ладони к груди и продолжил:

– Как не делать добра? Как не хотеть его? Как не радеть его? Как не любить его? Как не копить его? Как не желать его? Как не звать его? Добро у нас с вами не за семью замками, от нас зависит в полной мере, коли мы откроем ему двери, коли впустим на порог, да не сделаем плохой оборок, не поступим с ним плохо, как гнилой йоха-воха, не отпихнем его, не отряхнем его, не завалим ему пути да не дадим ему уйти.

Толстой перевел дух, вытер свой рот рукой, помолчал, опустил голову и забормотал, словно себе самому:

– Отчего люди делают себе плохо, когда так просто хорошо себе сделать? Этот делает плохо, другой, третий. И знает ведь, что плохо делает, а продолжает делать. И ничаво в нем не шевельнется, не ухнет, не вспухнет, не закачается, не отчается – отчего мне делать хорошо не получается? Почему я, гнилой йоха-воха, все время делаю плохо?

Толстой протянул ладони вперед, как бы вопрошая у стоящих людей:

– Сам себе я враг или просто дурак?

Люди молчали. Он продолжал:

– Вы на птиц смотрите, на деревья, на зверей, на пчел да червей. Всю жизнь свою каждый из них смело делает доброе дело – один гнездо вьет, другой яйца кладет, третий мед собирает, четвертый падаль убирает, пятый роет нору, шестой грызет кору, седьмой желуди растит, восьмой на ветру шелестит. Неуже человек их хуже? Отчего же, гнилой йоха-воха, ты привык делать плохо? Что тебе мешает? Кто тебя добра лишает? Кто тебе вредит? Кто в тебе смердит?

Он снова смолк, глядя в собственные руки. Затем поднял посуровевшее и ставшее от этого еще более похожим на камень лицо, обвел народ все еще мокрыми от слез глазами.

Люди молчали. Дети застыли, раскрыв рты. Только первые, редкие еще весенние птицы перекликались в недалекой роще.

Толстой вдруг вытянул вперед руку, указал перстом своим в толпу и повысил голос:

– Сам ты себе вредишь! Сам в себе смердишь! Сам себе мешаешь! Сам себе хорошо делать запрещаешь! Сам себе в суп плюешь! Сам себе в постель срешь!

В толпе заплакала старуха-эфиопка. И сразу же следом – две девочки. Толстой же так и застыл, с вытянутой рукой; лицо его теперь стало грозным, мокрая одежда клубилась паром, темные впадины глаз уставились на толпу.

Заплакали еще несколько детей, потом одна женщина, другая, третья – и вскоре женский и детский плач, как ливень, обрушился на толпу и повис над нею в воздухе. Мужчины сразу посерьезнели и стояли с невеселыми лицами. Лишь пьяноватый лабазник улыбался и мотал головой, да старик-рыбник, раскрыв беззубый рот, с детской радостью смотрел на Толстого.

Толстой же словно превратился в камень. Его огромное тело застыло, вытянутый палец нависал над толпой, полуоткрытый рот и темные глаза придавали лицу угрюмое выражение. Прошла минута, другая, третья. Толстой был неподвижен. Это было странно и необычно. И чем дольше длилось это оцепенение, тем сильнее и протяжнее становился плач женщин и детей. Они уже плакали не от горьких слов Толстого, а от его странного окаменения, становящегося все более пугающим. И его каменистое лицо уже казалось плачущим не угрюмым, а беспомощным и бесконечно добрым. Плач усилился. Некоторые женщины зашлись в рыданиях. Этот плач толпы под блекло-голубым весенним небом и ярким солнцем перед огромной фигурой сидящего окаменевшего великана звучал уже только для того, чтобы этот великан снова ожил и заговорил с людьми.

И он ожил.

Рука его бессильно опустилась вниз. И враз, словно по команде, стих плач.

Толстой выдохнул тяжко, потом так же тяжело втянул в себя воздух. И произнес уже спокойным, негромким голосом:

– Делайте добро.

Толпа замерла.

– И спасетесь.

Толпа выдохнула с невероятным облегчением. И зашумела, задвигалась. Женщины переводили дух, вытирая заплаканные лица, дети всхлипывали и начинали радостно подсмеиваться. Мужчины загудели, а потом громко и одобрительно закричали по-мужски, как бывает на деревенских сходах или на спортивных состязаниях. Толпа сперва шумела и кричала вразнобой, но потом стала скандировать одно:

– Будем делать! Будем делать!

Албанцы, русские, сомалийцы, эфиопы, чеченцы и грузины кричали одно, самое важное для них, кричали сильно и радостно:

– Будэм дэлат!

– Будем делать!

– Бьютэм тэладь!

Толстой сидел, опершись руками о свои колени, и смотрел на толпу. Его лицо уже не было камнем. Стоящие вокруг люди словно отразились в этом лице. Он вздохнул – уже легко, как

крестьянин после тяжелой и удачной работы, и произнес:

– Вот и ладно.

Толпа ревела.

Толстой встал.

– Отобедай, батюшка Толстой! – выкрикнул купец-грузин.

– Отобедай! Не погнушайся! – закричали в толпе.

Толстой вытянул из земли свой посох, взял короб, сунул в него мамонта и двинулся к большаку. Дойдя до главной улицы села, Толстой остановился, поставил короб на снег, оперся на посох, глянул на солнце и замолчал, улыбаясь всем и себе самому.

Взрослые сельчане вдруг покинули Толстого и разбежались по домам. И только дети остались, стояли, смотрели на огромного Толстого и галдели, как обычно.

– Дядя Толстой, расскажи! – прокричала девочка.

– Расскажи, расскажи! – запрыгали и закричали дети.

Опираясь на посох, Толстой сощурился, подумав недолго, и заговорил:

– Родился однажды в клопиной семье ма-а-а-аленький клопик.

Толстой сложил вместе два огромных пальца, показывая детям размер клопика.

– Жили они все в старом ковре, что висел в избе над кроватью, на которой спали люди. По ночам клопы вылезали из ковра и ползли на спящих людей – сосать у них кровь. Клопы в своей жизни питаются токмо кровью человеческой. И в одну ночь вся клопиная семья, акромя маленького клопика, отправилась напиться крови. А маленький клопик остался в ковре их ждать. Ждал-пождал, а там и ночь прошла, рассвело. Да никто не возвращается. День настал, сидит клопик в ковре, не знает, что и поделать. Выглянул из ковра – солнце ему в глаз попало, обожгло. Испугался, забился поглубже в ковер. Проголодался. Он ведь не умел еще кровь сосать, а мог токмо сисю сосать у мамы-клопихи. А мамы-то и нет…

Толстой смолк, опираясь на свой посох, опустил голову. Дети, затаив дыхание и задрав головы, смотрели на него.

– Дождался клопик темноты, вылез из ковра и пополз искать свою маму. Свалился он на кровать, ползет по одеялу. А одеяло под ним качается, словно это землетрясение. Под одеялом человек спит и дышит, отчего качается одеяло, а вместе с ним и клопик. Стал он звать маму по-клопиному. А мама не отзывается. Пищал, пищал клопик, а потом и заплакал. Горько ему стало одному. Вдруг кто-то его окликнул: “Ты чего плачешь?” Глядит клопик – перед ним вошь платяная. “Я маму-клопиху ищу, –

отвечает клопик. – Я есть хочу”. “Твою маму прошлой ночью люди поймали и раздавили”, – говорит ему вошь. “А братья старшие мои где?” – “Их тоже раздавили”. Заплакал клопик пуще прежнего. А вошь платяная и говорит ему: “Не плачь. Я только что крови вдоволь насосалась у человека за ухом. Хоть и спешу я к своим деткам, а тебя накормлю”. И дала ему сисю свою пососать. Напился клопик, уполз в ковер и заснул. А вошь каждую ночь приходила его кормить, хотя у ней самой было семеро маленьких вшичек. Так и кормила его вошь каждую ночь, пока ее саму люди не поймали и на ногте не раздавили. Но клопик уже вырос и сам мог крови насосаться. Спасла его та вошь от голодной смерти. И вот спрошу я вас: почему?

Дети смотрели на нависающего над ними Толстого.

– Потому что… она была доброй? – произнес мальчик.

– Потому что она была доброй, – серьезно произнес Толстой.

Тем временем на улице появились все те же сельчане, но уже с корзинами в руках. Они выходили из своих домов и спешили к Толстому.

Люди с корзинами, полными разной снеди, стали подходить и ставить корзины перед Толстым. Толстой смотрел и улыбался.

– Благодарствуйте, люди добрые! – пророкотал Толстой и поклонился людям в пояс, коснувшись рукой земли.

– Откущяй, батьюшка, на здоровье! – громко и резко произнесла молодая сомалийка.

Толстой взял одну корзину, полную деревенской снеди, поднес ко рту, опрокинул в рот и стал жевать – с достоинством и не торопясь, словно совершал дело, важное не только для себя, но и для всех этих людей. Затем поставил на снег пустую корзину, взял новую и поступил с ней точно так же. Потом – третью, четвертую, пятую…

Люди завороженно смотрели, *как* он опустошает корзины, как неспешно и мощно двигаются его могучие челюсти. Толстой ел так, что на это всем было приятно смотреть.

Насытившись, Толстой рыгнул, вытер рот ладонью и снова поклонился людям.

– А таперича мы б с лохматым и соснули малось, – произнес он.

– Отдохни, батюшка, отдохни, родимый! – закивали люди.

Они знали, что Толстой всегда спит после обеда. “Дневной сон – золото”, – любил говорить Толстой. Они отправились в самый большой сенник села, купцов Халиловых, где уже почти не осталось сена, съеденного скотиной за зиму. Забравшись в сарай, Толстой вытащил из короба мамонта, сунул себе под мышку, лег навзничь и сразу же захрапел. Могучий живот его стал

воздыматься и опадать, словно это дышит сама земля. От храпа затряслись дощатые стенки сарая.

Взрослые, оживленно переговариваясь, разошлись по своим домам и делам. А дети все стояли у сарая, заглядывали внутрь и шептались промеж себя:

– Гляди, гляди, Толстой спит!

Закончив чтение, взвешиваю рассказ на руке. Легкое *поленце.*

– Прочли? – клиент, с сапогом в руках, смотрит на меня.

– Прочел.

Он смотрит на меня выжидающе.

– Что я на этом должен приготовить?

– Три морковные котлеты.

Собираюсь с мыслями.

– Котлеты уже слеплены Сонечкой сегодня утром. Она всегда сама их лепит, кухарке не доверяет.

– Где они?

– Лежат в леднике.

Вот как… Мне остается только сам процесс. Но есть технологическая проблема. На решетке морковные котлетки не жарят.

– Граф, для приготовления этого блюда мне потребуется очень тонкая плоская сковорода.

Клиент встает, снимает фартук, закладывает за пояс левую руку, в раздумье покачивается на носках своих мягких сапог:

– Тонкая сковородка? Вряд ли, вряд ли… Мы питаемся крестьянской едой, простой народной пищей. Ее готовят в русской печи, сковороды толстые, большие. Котлы, чугунки…

– В таком случае нет ли у вас в имении чего-нибудь тонкого металлического?

Он переводит на меня свой внимательный, глубокий взгляд.

Я виртуозно изжарил три морковные котлеты на казацкой сабле XVIII века, обратив рассказ “Толстой” в пепел. Все произошло на летней террасе усадьбы. Слуга открыл окна. Клиент, его жена и дочь сидели за большим столом, рассчитанным на тридцать человек. Женщинам он успел прочитать рассказ вслух перед обедом. Лица их были спокойны и задумчивы.

К котлетам подали кислую капусту, хрен, черный хлеб и воду. После подачи я хотел закрыть жаровню, чтобы ветер, гуляющий по веранде, не разнес пепел, но клиент запретил. Котлеты

поедались молча, черные хлопья кружились над столом. За окнами попрохладнело и сгустились тучи. Слуга принес три шубы и заботливо накинул на плечи сидящих.

Я же, как и положено, стоял в белом халате у жаровни.

Клиент прожевал последний кусочек котлеты, запил водой и произнес, глядя перед собой:

– Сколько человеку еды нужно?

Женщины молчали.

– Сколько человеку нужно воды? Сколько человеку нужно воздуха? Сколько человеку нужно одежды?

Женщины сидели, словно оцепенев. Их бледные северные лица оттенялись мехом шуб и хлопьями черного бумажного пепла, порхающего по веранде подобно бабочкам.

– Сколько человеку нужно мебели? Сколько человеку нужно денег? Сколько человеку нужно сна? – продолжал клиент, словно спрашивая кого-то невидимого, тоже сидящего за этим большим столом.

Возникла долгая пауза.

– Сколько человеку нужно любви?

Мы все молчали.

Он тоже помолчал и заговорил:

– У нас возле отцовского дома под мостом одно время поселился нищий бродяга. Мне шел в ту пору пятнадцатый год, я учился в гимназии. Каждый раз, идя в гимназию, я проходил под мостом. И всегда, всегда мимо этого бродяги. Он был не стар, не молод, без возраста, как большинство из них, с таким нечистым, подзаросшим лицом, в замызганной одежде. Если не спал, он сидел на своем грязном матраце и смотрел на прохожих. Рядом стоял бумажный стаканчик с мелочью. В его взгляде не было ни просьбы, ни интереса. Он просто смотрел, провожая каждого из нас своим взглядом. В этом взгляде было что-то неуютное, неприятное для меня. Нет, там не было укора, злобы, зависти или желания разжалобить. Это был просто прямой взгляд. Он просто смотрел на нас, проходящих мимо. Если кто-то клал ему в стаканчик монетку, он даже не кивал головой, а все так же сидел и смотрел. Иногда он ел что-то, иногда спал, забравшись в рваный спальный мешок, иногда с кем-то говорил по мобильному телефону. Я научился проходить мимо этого бездомного, не встречаясь с ним взглядом. Но хватило меня ненадолго. Сам того не желая, я поднимал глаза, отрывал взгляд от земли и смотрел на него. И он успевал глянуть мне в глаза. Обойти его стороной я мог, конечно. Но тогда мне надо было, выходя из дому идти не налево, а направо. И делать большой крюк, чтобы перейти железную дорогу в другом месте. Это было бы глупо, глупо, очень

глупо! Ведь я выходил после завтрака из дома, у меня была цель, я шел в гимназию, рассчитывая время, для этого мне надо было обязательно идти налево, только налево. Я никак не должен был идти направо! И я шел налево, под мост. А там сидел он. В любую погоду, в дождь, в мороз этот нищий сидел на своем месте. И смотрел на меня. А я не хотел, не желал видеть его глаза! Встречаясь с ним взглядом, я словно что-то вдруг терял безвозвратно! Словно он что-то забирал у меня, и я шел уже дальше с чувством этой потери. Взгляд! И он забрал. И я пошел дальше, дурак дураком. А он продолжал сидеть. Спокойно сидеть себе. Это было… что-то странное. Он приобрел – я потерял. Сколько раз я молился, чтобы он заболел, или чтобы его забрала полиция, или, может, он бы просто решил вдруг перебраться в другое место, поближе к рынку, например, или на вокзал, где всегда были нищие. Но с ним ничего не случалось. Он сидел и ждал меня. Я иногда шел в гимназию с приятелями, они его вообще не замечали, словно это был камень. Они шли со мной, смеялись, дурачились. А я шел, шел… раз! И глянул. Потом я понял, что надо что-то дать ему. Я заначил дома одну крону и, проходя, кинул в его стаканчик. Он остался неподвижным. Я пошел дальше. А на следующее утро все повторилось снова. Я шел, он сидел. Я взглянул ему в глаза. И пошел дальше пустой, как пенал без ручек и карандашей. Это продолжалось, как дурной сон. Я понял, что, сколько бы я ему ни дал, он все равно будет сидеть и смотреть на меня. Потом я подумал: а не убить ли мне его? Я знал, где у отца лежит шестизарядный револьвер. Я бы взял его, вышел бы вечером, когда стемнеет, пошел бы налево, подошел, выстрелил и побежал бы в сторону гимназии. А потом долго бродил бы по городу. А револьвер я бы кинул в реку. Но потом я понял, что не смогу этого сделать никогда. В общем, ходил мимо него, мучился, потом плевался. До одного дня. У нас была весьма благопристойная гимназия, в ней учились дети состоятельнейших людей города. Траву покуривали. Но о серьезных наркотиках не было речи. Я пробовал траву, и мне почему-то в отличие от других ребят от нее не хотелось смеяться. Просто было как-то… свободно. И все. Но пиво я считал лучше травы. Мы пили его прямо на улицах, из бутылок. И однажды один парень принес на уроки три марки. Маленькие марки с изображением дирижабля. На перемене он завел меня и еще одного парня в туалет и сказал: если хотите кайфануть, сделайте, как я. Он открыл рот и налепил себе марку на язык. Мы сделали так же и пошли на урок. Это была топография. И у меня начались галлюцинации: я увидел, что у нашей топографини вдруг из спины выросли крылья. Но вместо того чтобы открыть окно и

улететь, она по-прежнему спокойно ходит по классу и рассказывает нам про геодезических дронов. Я увидел ее в рое этих дронов и расхохотался так, что сполз под парту. Она попросила меня покинуть класс. Я пошел домой. Все вокруг было другим, как бывает под кислотой. И только нищий был все тем же, со своим невыносимым взглядом. И вдруг я понял, что должен сделать. Я пришел домой. На счастье, никого не оказалось дома, даже прислуга и та ушла по делам. Не снимая пальто, я прошел в кабинет отца, снял с комода мраморный бюст Льва Толстого, затем прошел в комнату матери, открыл платяной шкаф, достал из него песцовую горжетку, завернул бюст в мех, вышел на улицу, пошел к мосту. Нищий сидел, завернувшись в тряпье. Я подошел к нему и положил ему на колени бюст Толстого, завернутый в песцовую горжетку. После чего я направился к своему другу. Он жил в пригороде, обычно нужно было ехать на электричке, но я пошел пешком. И через четыре часа пришел к нему. За время моей прогулки действие марки прошло. Мне все показалось так глупо, что, придя к дому друга, я не стал звонить в дверь, а развернулся, дошел до станции, сел на электричку и вернулся домой. Там был переполох: оказывается, уходя, я не закрыл дверь и прислуга решила, что в дом проник вор. В семье решили, что вора спугнули и он похитил только две вещи – бюст и горжетку. Все решили, что вор был пьяницей или наркоманом, поэтому схватил первое попавшееся. На меня не обратили внимания, думали, что я просто вернулся из гимназии. Я поужинал и завалился спать. Утром проснулся, позавтракал, собрался, вышел. Это был солнечный осенний день. Я иду, вижу мост, а под ним… никого. Подхожу – нищего нет. И вещей его – тоже. Пусто! И больше никогда в своей жизни я не видел этого нищего. Не смотрел в его глаза. И вот я хочу спросить вас: почему я отдал ему именно бюст Толстого? В кабинете отца их стояло три – Григ, Ницше и Толстой. Все мраморные. И все они достались от прапрадеда, отец был равнодушен и к Григу, и к Ницше, и к Толстому. Он любил регги, кино, скачки, регату и гольф. Художественную литературу он не читал вообще. Я тогда знал Толстого только по школьной программе, Грига мы знали все, о Ницше у меня было весьма смутное представление. Так почему же я отдал нищему именно Толстого?

Он вдруг резко встал, отчего шуба упала с его плеч. Борода его затряслась.

– Почему?! – выкрикнул он.

Непонятно было, собирается он рыдать или кричать.

Женщины напряженно молчали. Их бледные лица словно окаменели. Слуга с подносом замер в углу. Молчал и я.

Клиент нетерпеливо выдохнул, тряхнув бородой, подошел к сервировальному столу, схватил лежащую на нем саблю. Женщины встали. Он промычал что-то, швырнул саблю на пол и вышел прочь с веранды.

Ночь: аэропорт Гардермуэн в Осло. Бар. Признаться, я продрог на веранде у “графа” во время его монолога. При *чтении* я могу вытерпеть любой мороз – огонь и процесс согревают. Но когда +4 °С, пепел кружится, дамы молчат, а клиент пускается в воспоминания… это пробирает до костей. Мда. Вторая порция текилы со льдом только-только стала согревать меня.

Какого черта он устроил обед на холодной веранде? У него в доме огромная столовая, я успел заметить. Есть на холоде? Зачем? Чтобы лучше все прочувствовать?

Смоделировать русский moroz? Русскую метафизику, будь она неладна? “Граф” питается не только морковными котлетками, но и ею тоже…

Безусловно, холод играл в русской культуре важную роль. К нему я так и не смог привыкнуть. По мне, лучше плюс тридцать, чем минус. Я ненавижу снег, красоте которого молились русские поэты, не нахожу ничего красивого в этих застывших кристаллах H2O, а вой метели, описанной бородатыми русскими классиками, вызывает у меня лишь одно желание – закрыться от него в теплом помещении, развести огонь в камельке и выпить хорошего итальянского вина…

Вытягиваю из полученной от клиента *котлеты* голубоватую купюру в пятьсот крон, складываю из нее бычка, поджигаю в пепельнице. Новые деньги напечатали в Норвегии после подавления “салафитской весны”. На купюре – изображение ладьи викингов и короля Хальвдана Черного, как подсказывает мне синяя блоха. Оказывается, он был собирателем норвежских земель, огнем и мечом покоряя и присоединяя соседние территории. Чтобы накормить всех lutefisk. Подробности его жизни меня не интересуют, я приказываю блохе умолкнуть.

Монолог “графа” о бомже вызвал у меня одно не очень приятное воспоминание. Давно, лет шесть тому, в Париже я столкнулся у входа в магазин с одним колоритным нищим. Это был молодой, кудрявый, смуглолицый парень без правой руки, с симпатичным лицом и зелеными глазами, выражение которых не оставляло никаких сомнений в его искренности. В левой руке он держал кружку и просил милостыню, называясь беженцем. Я поинтересовался, откуда он. Парень рассказал душераздирающую историю бегства от македонских салафитов, убивших его

родителей, а ему отрубивших правую руку за игру в шахматы. Мы разговорились. Он мне понравился. Я дал ему десятифранковую бумажку (приличную по тем послевоенным временам милостыню) и парочку дельных советов. Он сказал, что запомнит меня на всю жизнь и будет за меня молиться. Мы расстались почти друзьями. Я вошел в магазинчик, купил бутылку воды, вышел через минуту и опять наткнулся на того же парня. Уставив на меня свои выразительные глаза, он показал свой обрубок и, протягивая кружку, стал как ни в чем не бывало прогонять все ту же душераздирающую историю про бегство, родителей, салафитов и шахматы. Я внимательно прослушал ее до конца. Затем развернулся и заехал ему по морде…

Спать сегодня придется в самолете. Завтра – канзасский клиент, заказавший каре ягненка на “Обломове”. Горячий месяц этот март. Чтение за чтением… Зато в мае – три недели отдыха. Полечу на Гоа, сниму хижину на сваях, поселюсь там с двумя вьетнамками, сам буду разрубать кокосовые орехи древним тесаком и поить девочек соком. А они напоят меня соками своими…

“И время остановится для нас, и наше счастье будет длиться ве-е-е-е-ечно”.

18 марта

Утро: нет, не удалось мне выспаться в самолете, летящем над ночным океаном. Все-таки наша жизнь поварская полна неожиданностей. Едва вечером объявили посадку, моя блоха безопасности загудела: 3333! Четыре тройки. Это значит – СРОЧНЫЙ СЪЕЗД ШЕФ-ПОВАРОВ. Каждому book’n’griller chef нужно отменить гастроль и прибыть в нужное место. Это случается кр-р-р-райне редко. На моем веку – третий случай. Это круто. Потому что: закон. Потому что: от этого никуда не деться. Потому что: что-то стряслось экстраординарное на нашей Кухне.

Обычно съезды проходят раз в год, это уже стало рутиной.

Но 3333 – ведро холодной воды…

Первый раз – была война с поварами-латиносами, решившими завалить Европу тоннами дешевых аррачеры на Дос Пассосе и каймана на Борхесе. Моду на латиносов тогда раздули и тайно проплатили трое итальянских поваров, резко поднявшихся на “Обрученных” Алессандро Мандзони и совершенно потерявших от нулей честь и совесть. После войны это *чтение* часто заказывали на свадьбах. Латиносы пообещали итальянцам вернуть золотые горы, засучили рукава и взялись за дело. После того сходняка троица кончила плохо – их скормили рыбам в Ионическом море. И начался последовательный отстрел

латиносов, который продолжался почти год. Европа была спасена.

Во второй раз проштрафились немцы. Они сильно прогорали с телячьим легким на “Волшебной горе” и сосисками на “Верноподданном”. И вместо того чтобы экспериментировать, работать над меню, *щипать* библиотеки, решили попросту нагадить другим европейским поварам: вбросили почтарям так называемую “античную библиотеку Геринга”, якобы обнаруженную в альпийских каменоломнях. Кухонную элиту поразила наглость и незатейливость идеи. Наш старик Zokal тогда откликнулся письмом из тюрьмы: “Тупой фальшак, поварята! Что мог читать Геринг, кроме *Mein Kampf* или Карла Мая?!” И впрямь, Геринг был витальным толстяком, интересующимся самолетами, охотой и старой живописью. Никто ничего не знал о его страсти к собиранию древнегреческих манускриптов. Но простаков это не смутило: фальсификаторы пустили слух, что это – часть той самой знаменитой библиотеки, похищенной нацистами из оккупированной Греции и доставшейся толстопузому Герингу. Над фальшаком немцы основательно потрудились, вот в этом прилежности и основательности им не занимать: полторы тысячи свитков – дорада на Аристофане, осьминог на Еврипиде, баранья печенка на Эсхиле. И все чтения – в Германии! Просто и ясно, как жареный батат на добром докторе Швейцере: мы нашли – мы и *читаем*! Ordnung muss sein! Клиенты со всего мира с набитыми кошельками ломанулись в подвалы Берлина, Мюнхена и Кёльна. Немцы в одночасье стали древними греками, их цены взлетели и обвалили остальной рынок. Нам, русским, тоже пришлось туго: Софокл потеснил Толстого. Стали готовиться к войне. На экстренном съезде немцам был предъявлен ультиматум. И они, надо сказать, как люди умные, пошли на попятную – сожгли половину фальшака, сбросили цены, стали делиться. Без пары трупов все-таки не обошлось, а как иначе в нашем деле? Но пережить опять это “древнегреческое” безумие я бы не хотел…

Что же стряслось на этот раз? Только б не война. Я – за мирное небо над жаровней…

Придется отменить Америку. Облом на “Обломове”. И Швейцария под вопросом? Неустойка, разрыв, гнев клиента. Переживем. Потери, потери. Они всегда с нами…

Зеленая блоха занялась отменой, синяя – маршрутом. От Кухни ориентир на место съезда предварительный – Южная Европа. Подробности и координаты воспоследуют в защищенном режиме. Раздается писк моей синенькой: билет Осло – Мюнхен. Три часа до вылета. Нахожу массажный салон, отдаюсь в руки тайского парня, потом сижу, пью имбирный чай с горным медом.

Когда ломается расписание, я стараюсь быть спокойным. Но уже плохо получается.

Я спокоенспокоенспокоен.

День: в аэропорте Мюнхена синяя блоха получает маршрут. Беру напрокат машину, еду в сторону Альп. 41 минуту петляю по горному серпантину. Паркуюсь на горной стоянке возле дорожной закусочной. Вокруг – ели и сосны. Еще местами снег лежит. Оглядываюсь: никого. На стоянке – пара машин. Блоха ведет меня. Ступаю на тропинку, вхожу в лес, поднимаюсь по склону, углубляюсь в заросли. Впереди – огромная поваленная ель, вся поросшая мхом. Подхожу к ней. Оглядываюсь – никого вокруг, только деревья. Достаю из кармана пачку “Кэмел”, специально купленную в аэропорте (я никогда не курю сигарет, только сигары), вытягиваю сигарету и громко произношу:

– Haben Sie Feuer?

На стволе ели мгновенно возникает старик в коричневой стеганой куртке, баварской шляпе с кисточкой, с подвитыми усами, рюкзаком, альпенштоком, в горных ботинках. На запястье у него новый Predator, создающий маскировочные голограммы в лесу. Он молча достает из кармана старомодную зажигалку в потертом латунном корпусе, щелкает раз, другой, третий. Огонь не появляется.

– Кремень сточился, – говорит он. – У вас, молодой человек, случайно не найдется кременька?

В моем кошельке есть маленький кармашек, застегнутый на тугую молнию. За эти девять лет я открываю его в третий раз. В кармашке лежат крошечные кремни, похожие на обломки старомодного карандашного грифеля. Даю один старику. Он осторожно, с навыками часовщика берет кремень, вставляет в зажигалку, помогая маленькой отверткой швейцарского карманного ножа. Протягивает зажигалку, щелкает. Загорается пламя. В зажигалке снизу открывается дверца. Подставляю – сигарету под пламя, руку под зажигалку. В ладонь из зажигалки выпадает маленький белый цилиндр.

Прячу его с рукой в карман. Затягиваюсь. И сразу кидаю сигарету на снег:

– Благодарю вас.

– Не стоит благодарности.

Старик убирает зажигалку в карман. И сразу исчезает. На стволе упавшего дерева – никого. Только мох.

– Хорошо здесь, – произношу неожиданно для себя, глядя в чащобу с пробивающимися лучами солнца.

– Ничего хорошего, – раздается голос старика.

Поворачиваюсь, усмехнувшись собственной глупости, иду назад к машине. Вообще-то я человек городской, к природе равнодушен, а леса просто терпеть не могу. Какого черта я это произнес? Когда мальчиком ходил в лес, меня там обязательно кто-то кусал: клещ, оса, муравьи. Ногу подвернул я тоже в лесу. В лесу мне некомфортно. Похоже, этому деду – тоже. К черту холодный темный лес. То ли дело – море. Ничего, недолго осталось…

Сев в машину, разворачиваю цилиндр. Это – тончайшая прозрачная пленка с нарисованным вручную маршрутом. Дальше я должен следовать ему, никакой электронной навигации, никаких голограмм. Налепляю пленку на левую ладонь, еду дальше.

Дорога петляет. Въезжаю в глухой лес. Вековые ели темной стеной обступают. Дорога идет вниз. И постепенно выводит меня к озеру. Следуя карте, выезжаю к небольшой пристани. Там стоят четыре одинаковых катера. Паркуюсь. На стоянке – девять машин. Уверен, что все они – поварские. Место завораживает тишиной и безлюдьем. Иду к катерам. Меня встречает крепыш в меховой куртке, помогает спуститься на катер, открывает дверь каюты. Захожу, сажусь. Катер сразу резво берет с места, несется по озеру. Озеро окружено лесом, словно стеной. Катер несется, стуча брюхом по воде. Затем забирает вправо, сбавляет ход. И мы подплываем к замку, прилепившемуся к самому берегу. Причаливаем к каменной пристани, где прохаживаются два крепыша с автоматами и высокий богатырь-блондин с лицом киногероя. Этого человека я знаю, он из нашей СБ. Он присутствует на каждом съезде. Протягивает мне свою богатырскую руку, помогая взобраться на пристань. Красивое лицо его вежливо-непроницаемо. Уважаю таких профи. Сунув руки в теплые карманы куртки, оглядываюсь. Здесь я никогда не был. Каждый съезд проходит в новом месте, это закон. Может, поэтому мы все пока на свободе…

Замок прекрасен. Над сторожевой башней развевается клетчатый флаг Баварии с гербом посередине, виднеются пулеметные гнезда в бойницах, над воротами – барельеф родового герба. После того как Бавария стала королевством, местная аристократия совсем расцвела. Вот только book’n’grill здесь был популярен лет пять тому назад, а сейчас можно говорить о спаде: за последний год я *почитал* в Баварском королевстве только два раза. И дело не в русской литературе. Признаться, здесь нынче мало не только *читают,* но и читают. Баварцы питаются реальностью, а не фантазиями. У них

просвещенное средневековье. Они ребята бодрые и решительные: пиво, свиная рулька, портативные крылья лучшие в Европе, смертная казнь на плахе. Может быть, поэтому они раньше других европейцев разобрались с исламистами…

Богатырь просит следовать за ним. Следую. Поднимаемся по широкой лестнице, оказываемся в огромной прихожей с колоннами и сводами. Здесь тоже охрана и ворота безопасности. Меня сканируют, идентифицируют комбинации молекул. И отбирают двух моих мобильных блох. Блохи оказываются в маленькой прозрачной коробочке. И таких блошиных домиков у охранника на столе достаточно. Народ собирается!

Меня проводят в громадную гостиную, уставленную помпезной старой мебелью. И я вижу наших, прогуливающихся с напитками в руках или восседающих на диванах, пуфах, в массивных креслах. Лукас, Лео, Джеймс, Томас, Мирко, Ли, Марсель… Марсель-Бретер, птенец из гнезда Zokal. Ох, что он вытворяет со своим эскалибуром!

– Марсель!

– Геза!

Подхожу, здороваюсь. На съездах, особенно экстренных, принят стиль сдержанного общения. Но нашему выводку я всегда по-мальчишески рад. Марсель стал достойным поваром, вошел в Круг.

Здесь уже собралось человек тридцать. А кворум съезда – сорок два.

Вот и двое русских – Билл и Анзор. Молча тюкаемся кулаками. Крутые парни. Анзор жарит только на Бахтине, для очень дорогих клиентов, редко, но метко. Билл недавно прославился парижским банкетом на собрании сочинений Тургенева, за который с ним расплатились походной кухней. Теперь ездит не он, а к нему. Вообще, походные кухни – новое веянье в нашем деле. Выгодное, но – рискованное. Если ты колесишь по миру с таким прицепом, то риск возрастает вдвое. Зацепят санинспекторы кухню – тебе тоже не скрыться. Трое уже сели. А это были отличные повара. Кухня походная может стать как островом Монте-Кристо, так и камнем на шее. Дело, конечно, модное-доходное, но, но… я пока осторожен: лучше ездить по миру с обычным поварским кейсом.

– Кого я вижу! Геза! – в кресле шевелится необъятная фигура в костюме цвета манго.

Толстяк Анри. Французский классик, уже ставший легендой. Он несильно старше меня, но выглядит на все пятьдесят. Рано встал к жаровне и многого добился. Сколько томов Гюго, Стендаля и Бальзака он сжег – трудно и вообразить. Хватит на

библиотеку для такого замка.

– Salut, Henri!

– Sacré Geza, toujours en forme?

– Твоими молитвами, Анри.

Почтительно пожимаю огромную пухлую длань с вытатуированной козлиной головой, держащей в зубах голубую розу. Толстяк Анри в Квинтете самый молодой. А Квинтет мудро руководит всем нашим братством.

– Как дела, русский? – спрашивает Анри, потягивая из квадратного стакана что-то слоисто-розоватое. – Как горит?

– Ярко.

– Как вертится?

– Как пропеллер.

– Как жарится?

– Как кошка на крыше.

– Как платят?

– Как на войне.

– Держи дрова сухими, Геза!

– Держи дрова сухими, Анри!

Все повара друг с другом только на “ты” и только по именам, вне зависимости от иерархии. Никаких родственных историй, никаких родословных. *Чистые* отношения. Наши блохи тоже всегда держат дистанцию, не спариваются.

Анри неизменно весел и снисходительно ироничен. Но напряжение в его слоновьих глазах не скрыть и ему. По этикету до заседания не спрашиваю, что стряслось в нашем кухонном королевстве. Не положено. Квинтет доложит.

Заказываю себе джин-тоник с ломтиком лайма. Кто-то слегка приобнимает меня сзади. Оборачиваюсь.

– Владимир!

Он молча улыбается своей американской улыбкой. Звезда Калифорнии, сделавший крепкую карьеру на Соле Беллоу. Половина его красивого лица не так давно была сожжена: канзасские грузины плеснули ему в лицо кислотой, заманив на *тухлый* ланч. Но хирурги быстро поправили…

Давненько с ним не виделись.

– Как горит?

– Ярко!

– Держи дрова сухими!

Американцы теперь снова в моде. У них сильно поперло в послевоенной Европе.

– Что-то круто стряслось на Кухне, – говорит Владимир, отпивая баварское пшеничное пиво из высокого бокала и не переставая улыбаться. – Старика Абрама я таким давно не видел.

Мрачнее тучи!

Только сейчас замечаю Абрама на дальнем диване у мозаичного окна. Это старейшина, ученик Евсея, которого зажарили живьем на вертеле румынские повара-самозванцы, а по-нашему – *графоманы.* Абрам *читает* только на идише, у него давно уже постоянная клиентура, сложившийся круг, который он не расширяет. Евреи и не только евреи платят ему огромные гонорары. О его форшмаке и куриной печенке на Шолом-Алейхеме ходят легенды. Каждое *чтение* он сопровождает специфическим пением с цитатами, причитаниями и подтанцовкой. Он большой артист. В Кухне он заведует финансами.

Прохаживаемся с Владимиром по гостиной, здороваясь с поварами. Подъехали еще трое – Себастиан, Алвис и Антон. Один – англичанин, другой – француз, Алвис же упорно тянет тяжелую немецкую лямку. Вообще, после аферы с “библиотекой Геринга” число немцев в наших рядах поуменьшилось. Некоторые немцы сменили *фартук* и двинулись в сторону элитарной кухни, став французами или ирландцами. Теперь многие из них жарят на Роб-Грийе или Беккете. Алвис же углубился в немецкий XVIII век: Гете, Готшед, Лессинг. Все его *чтения* — на первоизданиях. Дорогое удовольствие, кропотливый и опасный труд.

Вкатывается колобком весельчак Антонио, мастер эскалопов на Лампедузе. Одно время в Кухне его сильно критиковали за дрейф в сторону фастфуда, когда он денно и нощно пек барабульку на Барикко и активно ратовал за введение детской темы в book’n’grill. Но Квинтет идею не поддержал. Я тоже категорически против детского *чтения.* Дело тут не в морали (все мы циники и деляги, безусловно), а в элементарном расчете: мальчик может навсегда застрять на дешевых куриных крылышках на “Питере Пэне” и требовать их во взрослом возрасте, так и не почувствовав вкус серьезной литературы. Инфантильность! И – риск, риск. С детишками ли нам возиться? Двенадцатый съезд обложил Антонио взысканием на пятьдесят штук за самоуправство. Он выстоял молодцом – расплатился, даже *фартук* не сменил, а стал раскручиваться на “Леопарде” Лампедузы. И раскрутился, надо сказать. А прошлые неприятности сошли с него как с гуся вода.

– Антонио! Как горит?

– Ярко, ярко, Геза! Я слышал, ты замахнулся на Бабеля?

Откуда он знает? Интересно…

– Возможно.

– Не боишься еврейской зависти?

– Я никому не перехожу дорогу, Антонио. Бабель – советский

писатель.

– И еврейский. Смотри, Абрам может на тебя надуться.

– Это его проблема. Я блюду кодекс.

– Знаешь, когда я сбацал детский утренничек в Палермо на Джанни Родари, я тоже был уверен в непогрешимости!

– Другая тема, Антонио.

– Геза, я знаю нравы еврейской диаспоры на Кухне. Они борзеют.

– Übertreibung[5], – произносит Алвис, тюкаясь рыжеватым кулаком с нашими. – Временами *я почитываю* на Фейхтвангере, мне никто из наших евреев слова не сказал.

– На Фейхтвангере! Сла-а-а-а-а-ва богу! – хохочет и хлопает его по плечу Антонио. – Но придет время – скажут! Они всех еврейских писателей мнут под себя, подберут и твоего Фейхтвангера.

Входят двое русских коллег – Алвизо и Беат. У одного – XIX век, у другого – XX. Тюкаемся.

– Геза, ты читал когда-нибудь на Лескове? – спрашивает альбинос-красавец Алвизо.

– Раз восемь. Не очень ходовой товар, фрателло.

– Вот я тоже так же думал! А оказалось – нет! Новая болгарская буржуазия стала на него круто подсаживаться.

– Впервые слышу.

Алвизо всегда излишне откровенен. У нас, русских, его считают простаком и рубахой-парнем, но с хорошими мозгами. Он всегда легко делится идеями. А у нас борьба за рынок довольно жесткая. Лесков? Болгария? О'кей, фрателло Алвизо, я учту…

Входят: Сальвадор, американец, Брайан, англичанин, Уго, еврей.

Народ собирается.

Похоже, скоро прозвенит "кворум".

Еще один русский, Иван. По национальности он украинец, родился в Квебеке. Неплохо *читает,* но с неба звезд не хватал. Крепкая лошадка: поздний Толстой, ранний Чехов, исключительно бычьи стейки. В Круг попал за преданность нашему Максу. А вот и он сам.

Разом входит троица из Квинтета: наш русский Макс, американец Киприанос, поляк Джон. Лица у них серьезные. За ними двое охранников вносят два кофра. И следом поспешают старожилы Кухни Женя и Майкл, австриец и испанец.

Звенит "кворум".

Восседающие в креслах встают. Киприанос просит всех подняться в зал. Поднимаемся. Здесь совсем нет мебели,

огромный ковер и лишь один небольшой овальный стол посередине. Охранники становятся у окон и дверей. Отцы Кухни Абрам, Анри, Макс, Киприанос и Джон собираются у стола. Все начинается молча, без предисловий: два кофра водружаются на стол. Макс открывает их. Они наполнены десятками экземпляров одной книги. Киприанос показывает ее нам. Это набоковская “Ада”. Так, русская тема. Прекрасно!

– Вчера утром служба безопасности Кухни перехватила у почтальона в Биаррице пятьсот шестнадцать “Ад”, – произносит Киприанос и умолкает.

Все разочарованно переглядываются. Были партии *дровишек* и поболе.

– Ну и что? – спрашивает за всех Билл.

– Всплывают партии и покруче, – добавляет опытный француз Гийом. – Помните черногорский фургон с Брэдбери? Три тысячи штук.

Повара кивают. Кто не помнит тот неказистый фургон с рекламой черногорских морепродуктов? В нем в Европу попытались ввезти увесистую *кладню* с “451 °F”. Первое издание, все экземпляры новенькие, ждали своего часа целое столетие. Тогда по Кухне ходила рекламная шутка: “Лучшие стейки на «451 °F!»” Дело кончилось перестрелкой в Подгорице, двух почтальонов тогда забетонировали, повара лишили колпака…

– Помню прекрасно, – произносит Киприанос. – Только есть одно отличие этой *кладни* от других. Все экземпляры в этих кофрах одинаковы.

– Было бы странно, чтобы книги одного тиража были разные! – говорит Антонио, и все, кроме Квинтета, пересмеиваются.

– Вы не поняли, коллеги, – теперь уже Киприанос улыбается своей иезуитской улыбкой. – Все книги *абсолютно* идентичны. Разрыв супера, потертости, пятна чая, царапины, загибы страниц, две дырки, пометка карандашом на 142-й странице – все идентично. Это молекулярный продукт, абсолютная копия одного экземпляра первого англоязычного издания “Ады” 1969 года, McGraw-Hill.

Тишина. Молекулярный продукт. Вот оно что! Крутая новость. Значит, какие-то умники поставили где-то машину, и стала она лепить *брикеты* вместо благородных старых *дров*. Доселе такие машины пытались использовать только фальшивомонетчики и ювелиры-антиквары. Но овчинка выделки не стоила, молекулярная машина – штука кр-р-р-райне дорогая и громоздкая. Спрятать ее трудно, да и нужен штат квалифицированной обслуги. Но – книги?! Никто не ожидал.

– Это серьезно, – озвучивает коллективную мысль наш звездный Лео.

– Очень, – Киприанос обводит всех холодным взором.

– Кто *читал* “Аду”? – спрашивает Анри.

Четверо американцев поднимают пальцы. Трое англичан. И я поднимаю палец. Еще двое русских и… швейцарец Серж! Вот оно – яблочко раздора старика Набокова: “Ада” написана по-английски русским автором в Швейцарии, во франкоязычном кантоне Во. Ее *читают* американцы, англичане, русские и даже швейцарцы. Уверен, наступит время и французов. Всем привет из Монтрё! Эксклюзивных прав на *чтение* нет! Вот почему молекулярные штукари и выбрали “Аду”. Расчетливый удар по Кухне. Сделали бы они “Дар” или “Лолиту” – все было бы гораздо проще. А теперь – неизбежен клубок кухонных терний, ужо полюбуемся на него… Сейчас начнется Вавилон, перетягивание скатерти. Да и продукт для вброса выбран идеальный: “Ада” – супертяж, жирное *полено,* на нем жарить – одно удовольствие, бумага толстая, wood pulp paper, 626 страниц, переплет цельнотканевый, мелованный супер. Горит как родосская сосна. На “Аде” можно приготовить любую комбинацию из морепродуктов на дюжину персон; бараньи котлеты, перепела, рибай получатся в лучшем виде, она потянет и седло косули. Великая книга!

– Где их взяли? Кто это? Откуда и куда везли? – вопросы посыпались.

Ответом возникает голограмма: трюм рыбацкой шхуны, упаковки с “Адой”, голый по пояс, слегка избитый человек в светящихся наручниках.

– Где получал товар? – спрашивают его.

– Шанхай.

– Кто поставщик?

– “Роса утреннего часа”.

– Место доставки?

– Биарриц, Марсель, Дубровник.

– Имена!

Возникают изображения получателей. И все они – почтальоны Кухни! Замечательно! Не успевают открыться рты для новых вопросов – две голограммы. Один почтальон с камнем на шее летит в воду, другой лежит на мостовой с проломленной головой. А третий?! А третьего вводят в зал двое крепышей. Наша Кухня грязной посуды не терпит. Но этого мало. Нужно имя координатора из Кухни. Человек сразу оказывается на ковре в оранжевом светящемся поле, прозванном на Кухне “фритюрницей”. Оказаться в ней я никому не пожелаю.

Человек кричит так, что вибрируют подвески огромной люстры.

– Координатор! Кто координатор!

“Язык” орет, что не знает координатора. И лишается сознания. Его единственная блоха жалобно пищит под ногтем СБ. Блоха тоже не в курсе. Координатор и вдохновитель, безусловно, из наших. Сами бы китайцы до такого не доперли. Чтобы такое вбросить на рынок, надо изнутри знать кухню нашей Кухни. Пока “языка” приводят в чувство, начинается главное:

– Что делать с тиражом?

– Уничтожить!

– Стоит ли спешить? Это же не фальшак.

– Конечно! Сорвем солидный куш. Кухня сможет заработать.

– Это будет нарушением кодекса!

– В кодексе нет параграфа о молекулярных копиях.

– Это фальшак!

– Нет! Юридически это оригинал!

– Мы навсегда подорвем свою репутацию!

– Кухня и так терпит убытки! Надо использовать тираж в своих целях. И пусть *читают* все – американцы, швейцарцы, русские, французы…

– А что делать немцам, итальянцам, англичанам?! Стоять и нюхать?!

– Договоримся, поделимся!

– Можно будет пустить эти деньги на безопасность, крупно подмазать санинспекторов!

– Если это узаконить – может рухнуть вся Кухня! Это станет традицией!

– Конечно! Они на это и рассчитывают!

– Чушь! Мы лишь укрепимся! Проглотим этот тираж и все! А саму машину уничтожим!

– Новую сделают!

– Сразу не потянут! А сделают – снова уничтожим!

Глас народа. Квинтет же пока молчит. Я, признаться, тоже. Не знаю, как поступить. Честно говоря, вид этих аппетитных толстых томов, лежащих на столе, гипнотизирует. Я бы не отказался от пары десятков, ей-богу. Можно круто поправить свое благосостояние, завеяться с вьетнамками на дальние острова и там месяца три танцевать босса-нову под лунным светом или ламбаду под солнечным. Нет, три – наскучит. Полтора. И загорелым вернуться к родной жаровне.

Старик Абрам поднимает руку. Все стихают.

– Коллеги, позвольте мне рассказать одну еврейскую притчу. Это произошло в стародавние времена, когда вместо блох были

умные комоды. У одного правоверного еврея был такой комод, помогающий зарабатывать ему на хлеб насущный. Одно плохо – комод постоянно ломался. А на новый денег не хватало. У еврея была большая семья. Ремонтировал, ремонтировал этот еврей свой умный комод, а потом руки его опустились. И пошел он к ребе. Спрашивает:

– Рабби, мой умный комод постоянно ломается, словно в наказание за что-то, хотя я блюду кошер, хожу в синагогу и стараюсь не грешить. В чем я провинился?

Ребе ответил:

– Мойша, в твоем умном комоде завелись клопы, поэтому он и барахлит.

– Клопы? Но они живут в обычных комодах.

– Мойша, речь идет не о простых клопах, а об умных.

– Что же мне делать? Как вывести умных клопов из комода?

– Очень просто: поумнеть.

Все молчат.

– Коллеги, нам всем пора поумнеть. Тем более что у нас на Кухне завелся не клоп, – произносит Абрам, – а крыса.

Ожидаемо, ничего не попишешь…

– И она среди нас.

Все начинают напряженно переглядываться.

– Антонио, – произносит уже Киприанос, и все взоры устремляются на итальянца. – Как ты себя чувствуешь?

– Я? – Антонио стоит с непонимающим видом, внешне такой же, как и всегда. – Прекрасно!

– Это хорошо, – улыбается ему Абрам.

Немая сцена.

– Ты все гениально просчитал, – продолжает Киприанос. – Кроме одного. К проштрафившимся поварам у нашей службы безопасности внимание особое. Ты этого не знал.

В воздухе возникает голограмма. Интерьер дешевого отеля, Антонио у зеркала надевает *живую* маску горбоносого старика, вставляет в глаза цветные линзы, сует в горло *мягкий* модулятор, пробует дикцию.

– Нинь хао! – произносит старик в зеркало и неприятно улыбается.

Следующая голограмма – этот старик бредет по шанхайской улице, затем в неприметной харчевне встречается с двумя китайцами. Возникает текст их разговора. Они обсуждают последовательность ввоза и переправки продукта. Продукт поступает “с севера”, речь идет о партии в… двадцать пять тысяч. Круто! Старик напоминает о гонораре. Китайцы протягивают ему деревянную коробку, он открывает. В коробке – небольшая

китайская ваза. И по ее виду – ей оч-ч-ч-чень много лет. Была бы со мной синяя умница – подсказала бы. Старик убирает коробку в сумку, встает, прощается и уходит.

Лицо балагура Антонио смертельно бледнеет.

– История со штрафными санкциями озлобила тебя, фрателло, – произносит Джон. – И ты решил нагадить Кухне. А заодно срубить деньжат.

– Решил плюнуть в колодец, из которого пил все эти годы, – добавляет Анри.

Антонио молчит. А что тут скажешь?

– Если хочешь, чтобы смерть твоя была легкой, назови координаты машины, – лицо Макса беспощадно.

Посеревшие губы Антонио с трудом раскрываются. И в звенящей тишине:

– Северный Урал, гора Манарага.

Сразу появляется карта. Далековато от цивилизации. Возникает красивая гора с семью зубцами, словно на нее надели корону. Север, север… Ну а где еще спрячешь такую машину? В Африке уже невозможно.

– Где точно?

– Там… пещера. Между вторым и третьим зубом с юго-восточной стороны.

Возникают точные координаты змеиного гнезда.

Киприанос еле заметно делает знак своими умными глазами. И, бесшумно ступая по ковру, сзади к Антонио приближается тот самый богатырь-блондин, встречавший всех на пристани. Борясь с оцепенением, Антонио начинает мучительно поворачиваться к своей смерти. Но не успевает взглянуть ей в лицо: следует зверский удар ребром ладони по шее. И предатель замертво падает на ковер.

– Бочку! – командует Киприанос. – И уберите “языка”.

Пока уносят “языка” и приносят бочку, мы смотрим на убитого. Мертвый он такой маленький и жалкий. В Баварии я иногда охотился на птиц. Утки, голуби, дрозды были неплохим приварком к нашей с мамой скудной трапезе. Меня всегда удивляло, насколько убитая птица меньше той, что только что парила в воздухе. Так и Антонио. Он жалок.

– Дерьмо! – итальянец Бронислав плюет на труп. – А я считал его своим другом…

– Надо было спросить его про второй тираж, – произносит круглобородый, всегда с иголочки одетый Женя.

– Он не мог этого знать, – возражает Джон. – Машина работает. Допечатки могут быть любыми – пять тысяч, пятьдесят тысяч или пятьсот.

– Он хотел обрушить нам рынок огромным тиражом, – в испанском платке, со старомодными очками на носу, Майкл разводит сильные руки. – За что? Чего ему не хватало? Кухня кормила его!

– Гнида, – бормочет Бронислав.

– Человек, неспособный найти в себе равновесие, рано или поздно совершает подлый поступок, – отвечает Абрам Майклу.

– Затаил черную обиду после штрафа, – кивает Беат. – Идиот…

– В семье не без урода… – вздыхает Алвизо.

Парни из службы безопасности приносят бочку, вкатывают тачку, полную бетона. Тем временем в руках у блондина появляется хирургический пистолет для изъятия блохи из варолиева моста. Им же ее и имплантируют. Обычно эта операция делается под общим наркозом, но мертвому он уже не требуется. Пистолет вставлен в рот убитому, пара минут, щелчок – и окровавленная блоха с прощальным писком исчезает в пластиковой капсуле. Блондин передает капсулу Джону, тот убирает ее в карман. Труп засовывают в бочку, мелькают лопаты, и – бочка полна бетона.

– Как застынет – бросьте в озеро, – распоряжается Киприанос.

Бочку увозят.

И нет больше балагура Антонио.

Такое бывало на Кухне, но показательно – впервые. Это впечатляет. Мы молчим.

– Кухню не обманешь, – громко произносит Владимир и выкрикивает: – Кухня сильна!

– Кухня сильна! – подхватываем мы.

Это сразу снимает напряжение. Все обступают стол, берут злополучные книги, листают. С задней обложки каждой внимательно смотрит Набоков. Мда, Владимир Владимирович, вырастили вы в чистеньком Монтрё яблоко раздора. И свалилось оно на нашу голову…

– Нужно уничтожить машину и тираж как можно скорее, – произносит Киприанос. – Этим займется служба безопасности.

– Но кто-то из *читавших* на “Аде” должен проконтролировать.

– Обязательно!

– Господа, прошу бросить жребий.

В руках у массивного Анри возникает черная коробка с дырою. Ящичек Пандоры. Одиннадцать, включая меня, тянут жребий. Выстраиваемся в очередь. Старомодно, на спичках.

И voilà… я вытягиваю горелую.

Fuck!

Козел на широченной руке Анри скалит мне зубы. Мда. Хороший денек сегодня.

Все взоры – на меня.

Абрам подходит ко мне:

– Геза, тебе придется исполнить это важное дело. Кухня доверяет тебе.

Пожимаю его теплую и спокойную руку:

– Я готов.

– Все будет хорошо, – устало улыбается он.

– С тобой свяжутся наши из СБ, когда операция сложится, – говорит Киприанос.

– Ясно.

– Господа, съезд завершен! – громко объявляет Макс.

Все направляются к выходу. Вопрос об использовании тиража в целях Кухни отпал сам собой. Бочка помогла…

Со мной рядом оказываются Женя и Майкл. Они друзья.

– Самое неприятное, если эта чума успеет просочиться в библиотеки и музеи. А туда потом полезут взломщики, – говорит Женя.

– И будут впаривать “Аду” букинистам, те – нам, и этому не будет конца, – качает головой Майкл. – Черт возьми! Геза, Женя, в каком мире мы живем?!

Да. Это опасно. Паленая “Ада” способна заразить все. Уничтожить тираж и машину крайне важно. Женя легко хлопает меня по левому плечу:

– Чтобы у тебя все получилось.

Майкл – сильно, по правому:

– Раздави гадину, Геза!

– Постараюсь, коллеги.

Хорошие парни. Женя работает исключительно с австрийской аристократией. О его венских шницелях на Шницлере знают все. Майкл *читает* испанцев.

В прихожей мы ловим своих блошек. И покидаем замок.

На пристани стало еще прохладней. Нас начинают последовательно и быстро переправлять на катерах. Прощаемся. Все сочувствуют мне. Понимают, что дело может быть не совсем простым. Но – жребий брошен. Надо исполнять.

На автостоянке ко мне подходит Борис, *почитывающий* на советской литературе. Он часто мне предлагает что-нибудь не очень съедобное. Но я не в обиде. Тем более – сейчас. Надо как-то прийти в себя, обрести внутреннее равновесие, войти в привычный ритм жизни…

В руках у густо усатого Бориса сумка с книгами.

– Глянь, Геза. Это постсоветская литература. Отдаю всю

вязанку — за пару штук. Здесь пять авторов.

Беру наугад неувесистое поленце: “Я пришел с Родины”. На обложке – бритоголовый автор с проспиртованным взглядом. Листаю. В начале:

Ванькя пронесся по зассанной лестнице, пнул дверь подъезда, словно дырявый бронежилет укропа, попердывающей самоходкой вырвался в родной двор. Мокрым галчонком весна влетела ему в рот, в носу защипало, как от стакана доброй советской газировки. Двор был давно распахнут для весны. Ждала земля, ждали и ребята. Вдруг в арке подворотни, в перекрестье солнечных лучей возникла Таня – короткая юбка, эскимо в тонкой руке, рожь волос. Таня вся сочилась светом. Казалось, она разлетится сейчас сотнями, тысячами первых весенних бабочек-лимонниц! Нужен был сачок из нежных и сильных слов, чтобы сразу, одним махом огрести этих бабочек света. Ванькя яростно, до мути глазной всосал в себя весенний воздух и проорал:

– Я убью тебя, сука!!

В середине:

“За Русский мир на смертный бой летит стальная эска-адрилья!!” – со всей мочи пропел бухой Устин и вдруг всхлипнул так, что все пацаны смертельно затосковали, словно оказались на похоронах старого школьного друга.

В конце:

Толян брел наугад по осеннему лесу. Обсосанные хмарью деревья толпились, словно скелеты великанов. Небо набухало. Вдруг нога подфутболила что-то живое в пожухлой траве: еж! Толян присел на корточки, взял в руки колючий клубок. И сразу печаль упала на него с серого неба. “Я тоже еж, – подумал он. – Только иглы свои порастерял. А новые ни хера не отрастают”.

Он бережно опустил ежа в траву, встал. И вдруг как-то сразу, обвалисто и внезапно, ему захотелось до боли, до изжоги, до стона нутряного и до слез просраться в этом лесу и подтереться опавшими листьями.

– Как во сне, бля… – прошептал он и рывком расстегнул свой старый дембельский ремень.

Возвращаю:

– Нет, на таком не жарю. Ты же знаешь, наш век – не мое *чтение.* Предложи македонцам. У них в горах есть клиентура на постсоветский валежник.

Прощаемся.

Уф! Сажусь за руль. Что ж, после сегодняшнего дня мой путь становится извилистей. Весьма! Года четыре назад я бы сказал: тем интересней. Но сейчас я промолчу.

Под возбужденный писк соскучившихся блошек выезжаю

один я на дорогу. И блоха с блохою говорит.

20 марта

Утро: серпантин в Швейцарских Альпах. Сбой расписания – вещь серьезная. Это как сдвиг снежной массы в горах весной – может обрушиться лавиной, а может и продолжать медленно таять и нависать. Лавину я остановил: кроме американца, не слетел никто, клиенты пошли мне навстречу, двое поменяли даты относительно безболезненно. Слава Огню и Бумаге! Но – жду сигнала с Кухни. Чувствую, что неделю наши должны потратить на подготовку, не меньше. Придется быть и оставаться на взводе. Это бодрит. Хотя – черт его знает, что там может быть. Уральские горы. Могу там навеки и остаться. Мда… Красная блоха успокаивает меня. Ладно, не будем с утра впадать в *тяжелое.*

Открываю окно такси, горный воздух врывается в кабину. Горы, горы… Они завораживают, как море, как огонь. Как работа book'n'grill chef. В горах мне всегда хорошо, лучше, чем в лесу. Но жить здесь я бы не стал ни за какие деньги. Пошли к чертям все эти горы и леса. Остров, остров в океане: море, пальмы, следы двух пар девичьих ног на песке…

Серпантин змеится вверх. День погожий: солнце, небо. Зеленая и синяя блоха до сих пор не могут отойти от вчерашней двухчасовой разлуки и осторожно попискивают. Ночью они спаривались у меня в волосах. Сложен мир *умных* насекомых…

В Швейцарии я *почитываю* регулярно. Но все-таки не так часто, как хочется. Во все времена эта страна стояла особняком к Европе. Войны и потрясения ее не касались. Гитлер не стал ее завоевывать – берег покой гномов, восседающих на злате мира. Как восседали, так и сидят. Мда, Швейцария не так проста, какой представляется в красивых рекламных голограммах. Талибан быстро обломал об нее свои желтые зубы: нанятые гномами пакистанские крылатые легионеры вышибли моджахедов с горных перевалов. Старое швейцарское золото, как всегда, сделало свое дело, чтобы сохранить себя…

Платят швейцарские клиенты хорошо. Из русской литературы здесь предпочитают Толстого. Век XX гномов вообще не интересует.

Но сегодня я буду *читать* не по-русски. Сегодня – черная работа. Такое случается. Сбой расписания и потери вынудили взяться за черняшку. В критических ситуациях я не гнушаюсь *закусить черным хлебом*. Этот заказ мне сбросила Кухня, он висел у нее давно, немцы и швейцарцы от него отказались. Взял, потому что от Баварии это рукой подать.

Такси въезжает в горную деревню Лёйкербад, еще покрытую

снежком. Который спокойно тает под весенним солнцем. Расплачиваюсь, выхожу из такси. Ручейки текут по дороге.

Направляюсь к фуникулеру, покупаю билет, смешиваюсь с негустой толпой горнолыжников. Сезон на исходе, их уже немного. Я одет как старомодный турист – зимняя куртка, теплые штаны, обычные, не самоходные горные ботинки, палки для ходьбы, шерстяная шапка, темные очки, рюкзачок с пристегнутым термосом.

Фуникулер поднимает меня на плато. Здесь – лыжная трасса, ресторан. Я отделяюсь от горнолыжников и иду по протоптанной тропинке. Свежий горный ветер дует мне в лицо. Я иду против ветра, против солнца. Удаляюсь от людей. Прогулочная тропинка ведет к небольшому замерзшему озерку. Но блоха шепчет мне, что надо свернуть вправо и подниматься выше по склону. Так и делаю. Склон крут. Поднимаюсь выше, втыкая палки в крепкий, слежавшийся наст. Сердце начинает колотиться. Не могу сказать, что я плохо тренирован: пляска перед жаровней – дело энергозатратное. Раз в неделю стараюсь где-нибудь поплавать или покрутить педали. Но – одышка, одышка. Останавливаюсь, опершись на палки, смотрю вниз. Там катаются горнолыжники. Идиллия…

Отдышавшись, поднимаюсь выше, стараясь экономить силы. Блоха ведет меня своим нежным голосом. Подростком я любил мастурбировать, представляя себя на приеме у полной, грудастой врачихи в белом халате, с таким же нежным, вкрадчивым голосом:

– А теперь, молодой человек, снимите трусики, ложитесь навзничь и закройте глаза.

Снег громко хрустит под моими красными ботинками. Он слежался и стал крепким, как живородящий пенопласт. Дышится все тяжелее, а склону не видать конца.

– Сколько еще? – спрашиваю блоху.

– До цели 338 шагов, мой господин.

– Черт! Что ж ты раньше молчала?!

– Как всегда, я берегу ваше эмоциональное равновесие. Вам же известно, что оно гораздо важнее физического.

– Спущу в унитаз!

– Всплеснусь, воскресну и вернусь.

У нас с зеленой блохой свои отношения. Мое ухо она уже основательно обжила….

Задыхаясь, делаю три сотни шагов. Склон внезапно обрывается вершиной. Взбираюсь на вершину, сдвигаю темные очки на лоб, опираюсь на палки и дышу, дышу из последних сил. Здесь небольшая площадка с обветренным, слоистым снегом,

сверкающим на солнце. С нее открывается обалденный вид на горы и долину с деревней. Неприлично красиво…

Синяя блоха:

– Безопасно.

Люблю это простое, добротное слово.

Отдышавшись, снимаю перчатки, сую в карманы. И произношу громко:

– Ewige Wiederkunft![6]

В пяти шагах от меня возникает серая пирамида, размером с деревенский дом. Подхожу ближе и произношу пароль на вход:

– Ewige Wiederkehr![7]

Стены пирамиды делаются прозрачными, я вижу человека внутри. Вхожу в пирамиду. Голый могучий зооморф сидит за прозрачным столом и пишет на листе бумаги старомодной стеклянной ручкой со стальным пером, периодически макая это перо в… свою левую руку. На руке заметна ранка.

Молча снимаю горную одежду, достаю из рюкзака поварскую. Переоблачаюсь. Интерьер пирамиды – торжество аскетического минимализма. Здесь все прозрачно. Даже приготовленная для меня маленькая жаровня стоит на трех прозрачных ножках.

Хозяин пирамиды встает из-за стола, подходит ко мне, стуча копытами по прозрачному полу. Роскошный гигант с лисьим лицом. Он выше меня на две головы, идеально сложен, живая статуя. Его большие желтые глаза смотрят внимательно. Солнечные лучи скользят по рельефам великолепных мышц, покрытых тончайшей золотистой шерстью. Гигант протягивает мне лист грубой, толстой бумаги с неровными краями, исписанный порывистым, тесным кровавым почерком. Это я никогда не смогу прочесть сам, синяя блоха сканирует, мгновенно превращая кровавую рукопись в печатные немецкие буквы:

О Великом Повороте учу я вас.

Человек есть то, что невозможно преодолеть. Человек есть канат между зверем и сверхчеловеком. Тысячу лет шел человек по этому канату, преодолевая себя, балансируя, крича, радуясь, ругаясь и плача.

Звезды мигали человеку: “Будь спокоен и непреклонен!”

Солнце палило его: “Будь смел и беспощаден к слабой природе своей!”

Ветер шептал ему в ухо: “Сосредоточься, будь мужествен и целеустремлен, и ты достигнешь желаемого!”

Кровь, пот и слезы летели в пропасть, пока шел человек по канату, пытаясь преодолеть себя. Дрожа и оступаясь, достиг он середины пути. И остановился, чувствуя, что силы его на исходе.

“Великий отдых нужен мне”, – подумал человек.

Солнце, звезды и ветер стали торопить его:

“Не останавливайся, иди дальше! Остановка – это гибель!”

Но уставший человек закрыл свои глаза и уши, чтобы не слышать их голосов. Ослабевший, он стал задремывать, и окровавленные ступни его задрожали на канате.

“Лучше вечный сон, чем этот мучительный путь преодоления себя”, – подумалось смертельно уставшему человеку.

Вдруг летучая мышь опустилась на плечо его. И вонзила маленькие зубы в уставшее тело.

Человек вздрогнул и открыл глаза.

“О заблудившийся в самом себе! – воскликнула летучая мышь. – Полжизни своей ты потратил на несбыточное. Ты бежал от зверя к сверхчеловеку и потерял себя. Ты жалок и пуст. Кто способен наполнить тебя? Только зверь! Ты искал сверхчеловека? Теперь ступай назад и ищи зверя! Он наполнит собой твое человеческое, слишком человеческое. И ты, наконец, станешь сверхчеловеком”.

“Зачем же я мучительно шел все это время, к чему стремился?” – спросил человек.

“К несбыточному! – ответила мышь. – Ты забыл, что великое и простое – рядом. Важно только увидеть его и ощутить. Мы, звери, были все это время рядом. Но ты не видел нашу прелесть и не ощущал нашу мудрость и мощь. Вернись же к нам, заполни нами свою душевную пустоту. И ты станешь тем, кем хотел быть”.

Так поверни же стопы свои, Человек!

Что ж, один раз на этом можно и пожарить. Вполне. Но пока я не знаю что́…

Ответом в руке гиганта возникает стеклянный нож. Быстрым и точным движением он срезает часть своей левой груди и протягивает мне. Беру тонкий окровавленный кусок теплой плоти. Человечина парная. Нож исчезает, в руках зооморфа мелькает нечто вроде прозрачного пластыря – и вот уже нет ни раны, ни крови.

Я приступаю к делу. Кладу грудинку на решетку, фиксирую, сворачиваю из листа лилию, поджигаю с трех концов и… профессионализм не пропьешь. Слава Огню, я умею работать с любым материалом в любых условиях.

Подаю. На большой прозрачной тарелке. Без соли и приправ. Грудинка зооморфа rare.

Он садится за прозрачный, сервированный только для него стол. Я открываю приготовленную им бутылку шампанского, выливаю почти всю в огромный бокал. И встаю на свое место, вытянув вдоль тела руки в белых перчатках.

Клиент медленно ест и пьет, глядя на залитые солнцем горы. Его лицо, помесь человека и лиса, не выражает ничего. Он не успевает закончить трапезу, как моя блоха сообщает, что можно забрать гонорар и удалиться. Из стеклянной стены выдвигается пластина с конвертом.

Зеленая блоха:

– Сумма корректна.

Синяя блоха:

– Безопасно.

Беру деньги, переодеваюсь, выхожу из пирамиды. И она сразу исчезает.

Вдыхаю живительный горный воздух. Постояв, начинаю спуск. Этот давно *висящий в чулане* заказ Кухня не могла никому спихнуть. Почему? Это ведь не каннибализм, который на Кухне запрещен, а аутофагия. Большая разница. Нет, тут дело не в мясе, а в *дровах*. Этот новый Ницше не устраивал ни немцев, ни швейцарцев. И даже поляки не взялись. На Кухне вообще не любят самозванцев. Периодически возникают новые флоберы, достоевские или кафки и требуют обслужить их, приходя к нам со своими *дровами.* Беда в том, что это – не канонические *дрова,* а новый *валежник,* выращенный ими на своем огороде. Кухня нужна им для легитимации в собственных глазах и среди окружающих их безумцев. Но Кухня строго блюдет канон. Хотя на некоторых, как, например, на норвежского Толстого, Кухня смотрит сквозь пальцы. Бывают, бывают исключения. Но двухметрового зооморфа наши кухонные ницшеанцы отфутболили сразу. Не помог и написанный кровью “Новый Заратустра”…

А *я, русский,* взялся за грязную работу. И не жалею. Голодная и бесприютная юность многому научит…

Не успеваю спуститься с вершины к людям, как сзади раздается шум. Оборачиваюсь. Закусивший своей грудинкой зооморф несется с горы на сноуборде. Он – в серебристо-зеленом комбинезоне. И несется на меня! Бросаюсь на снег. Он пролетает надо мной, успеваю прочесть надпись на его доске:

DIE GROSSE WENDE[8].

Ух-х-х-х!

Зооморф пролетел.

И ни одной снежной крошки не упало на мою голову.

В общем, день удался, Геза.

25 марта

День: заказ, запланированный на май. Все-таки после экстренного съезда что-то незримо сдвинулось и поменялось. Я прилетел в Лиссабон, из аэропорта отправился в порт, где меня

ждал катер. На котором мы только что вплыли в нейтральные воды, о чем пискнула блоха (12 морских миль). Погода прекрасная, море спокойное. Впереди на горизонте возникла белая точка, к которой мы плывем. Катер ведет бородатый португалец, я сижу в каюте и потягиваю имбирный чай с медом из маленького термоса. Морское *чтение* — особое дело. Есть, есть нюансики. Кое-кому из наших приходилось *читать* и в шестибалльный шторм. Но сегодня мне, похоже, такое не грозит…

Белая точка растет и становится солидным трехпалубным катамараном. Катер сбавляет ход, подруливает к широкой корме, швартуется. С кейсом в руке я ступаю на шлюзовую платформу, где меня ждет матрос, и поднимаюсь по широкой лестнице, успев прочитать имя судна: *Proxima-B*. И без блох я знаю, что это название планеты, с которой связаны последние надежды человечества. Едва я ступаю на вторую палубу, как мне в грудь попадает синий ботинок. По палубе, улюлюкая и делая волосатой рукой неприличный жест, на меня несется молодой, кудрявый и совершенно голый толстяк. Второй ботинок попадает ему в голову. Ойкнув, толстяк умудряется свернуть вправо, успев даже пробормотать мне: “Ні!” Успеваю заметить его толстый, короткий обрезанный член и увесистые яйца. Толстяк исчезает за дверью, слышен щелчок замка.

– Сволочь! Мерзавец! – теперь на меня уже несется голая девушка.

Она растрепанно-рыжеволоса, лобок ее выбрит, плечи татуированы, на шее болтается цепочка с магендовидом. Сторонюсь.

Не обращая на меня внимания, девушка подлетает к двери, за которой скрылся жирдяй, и принимается колотить в нее:

– Открой, мерзавец! Открой!

– Милая, успокойся, умоляю! – притворно-умилительно раздается из-за двери.

– Открыва-а-а-ай!

– Умоляю! Умоля-а-аю! А то я буду плакать…

Следующий за мной матрос поднимает с тиковой палубы оба ботинка, проходит мимо девушки и делает мне пригласительный жест рукой:

– Прошу вас.

Иду за ним. Сворачиваем в коридор, дверь распахивается, на пороге – женщина средних лет в махровом белом халате.

– Это кончится когда-нибудь?! – выкрикивает она, и ярко выраженные семитские черты ее лица обостряются.

– Мадам, повар прибыл, – докладывает матрос, пряча за

собой руку с ботинками.

– Какой еще повар? А что с Алессандро? Опять болен? Это невыносимо!

– Мадам, это другой повар.

– Какой еще? – она вперивает в меня черные глаза.

– Для book'n'grill.

– Это не ко мне, – раздраженно отводит она взгляд и вдруг кричит, обращаясь к пластиковому потолку. – Я спрашиваю, это кончится когда-нибудь?!

– Пойдемте к мистеру Джозефу, – бормочет матрос.

Я следую за ним. Раздвигаются широкие стеклянные двери, и мы входим в просторную кают-компанию: бежевая кожаная мебель, низкие восточные столы, хаконива. За шахматным столиком сидят двое мужчин, один в капитанской форме, другой в шелковом халате, и яростно режутся в блиц. На диване в *мягком* коконе полулежит очаровательный мальчик в кипе, с пейсиками и играет в OBOROBO-3 на *умной* подушке. Матрос, все еще держа за собой ботинки, подходит к играющим:

– Мистер Джозеф, повар прибыл.

– Ни звука, ни вздоха! – бормочет загорелый мужчина с породистым лицом, делая стремительные ходы и неистово стуча по кнопке шахматных часов.

Его чернобородый партнер-капитан не отстает. Они ходят практически мгновенно. Мой дедушка стоматолог сказал бы: как роботы…

Матрос молчит. Мальчик посмотрел на меня и произнес:

– Добрый день.

– День добрый, – ответил я.

Партия покатилась в эндшпиль, Джозеф стал при каждом ходе издавать один и тот же звук, идентифицированный моей блохой как тамильский возглас одобрения. Капитан играл молча.

– И вот так! – взревел Джозеф. – Мат! Уложился! Vittoria finale!

– Fortissimo, – пробормотал мальчик, не отрываясь от игры.

Капитан остановил часы:

– Мда, Джозеф, твоя блоха умнее моей.

– Не всегда! Не всегда! – победоносно рассмеялся породистый и заметил меня. – А, это вы! Здравствуйте.

– День добрый, – я склонил голову.

– Доставили?

– Меня или книгу?

– Вас, вас. Книга давно у нас.

– Прекрасно, спасибо.

Джозеф встал, потянулся:

– У-а-а-х… 12:7. Кэп, все-таки тебе надо подкормить свою блоху.

– Джозеф, я был на материке девять месяцев назад, ты знаешь. А воздушную кровь моя старуха не пьет.

– Закажем тебе новую блоху.

– А кто ставить будет?

– Ну… найдем. Не будь ты занудой, мать твою! Все прекрасно! – Джозеф ударил капитана по темно-синему плечу.

Капитан набивал трубку. Джозеф повернулся ко мне, сунул красивые загорелые руки в карманы халата:

– Значит, как вы знаете, обед запланирован на семь. Если на нашем пьяном корабле ничего не случится, так и будет. Арик проводит вас в каюту.

– А вы приплыли, чтобы жарить на книге? – спросил мальчик.

– Да.

– А зачем?

– Это нужно дедушке, – ответил за меня Джозеф. – Мы должны сегодня сделать сабе приятное.

– А что вы будете жарить? – мальчик смотрел умными глазами.

– Авигдор, это секрет, – снова ответил Джозеф.

Мальчик отвернулся к своей живой подушке.

– Хотите выпить? – Джозеф пошел к низкому и обширному бару.

– Я не пью до работы, спасибо.

– Арик, проводи джентльмена.

Но едва мы повернулись к дверям, как они разошлись и в кают-компанию вошла та дама в махровом халате.

– Джозеф, я не могу так больше! – зазвенел ее голос в бокалах бара. – Рафаэль и Алиса только что…

– Отъебись от меня с Рафаэлем и Алисой, – спокойно перебил ее Джозеф, наливая себе рому из пузатой бутылки. – Отъебись, милая.

– Не отъебе-е-е-ется, – басом проговорил мальчик, и его лицо вдруг озарилось голубоватым светом от заурчавшей подушки.

– Азохен вей… – произнесла дама, бессильно бросая руки вдоль тела.

И пошла к бару:

– Тогда хоть налей мне чего-нибудь, мудило бесценное.

– Наливаю, пизда родная.

Джозеф стал наливать ей кашасу. Выходя из кают-компании, я понял, что буду *читать* сегодня для оч-ч-ч-ч-чень патриархальной еврейской семьи.

Вечер: солнечный диск наполовину утонул в океане. Во избежание внезапных морских ветров *чтение* происходило не в открытой грильной печи, а в столовой. Один из трапециевидных иллюминаторов я попросил открыть.

Как и ожидалось, семья собиралась долго, по частям. Сперва стюард стал приносить закуски, потом пришел Джозеф в элегантном бутылочного цвета костюме, затем появилась дама в вечернем платье, ведущая за руку мальчика. Они сели за стол, дама и мальчик прочитали браху. Затем взрослые выпили красного вина, мальчик – морковного сока и стали молча закусывать. Я стоял у жаровни. Через семь минут пришел капитан. Поприветствовав, сел и заказал себе виски со льдом. Прошло еще двадцать три минуты и вошла та самая пара – толстяк и рыжеволосая девушка. Толстяк был в небесно-полосатом костюме и в кипе, красавица – в длинном, узком фиолетовом платье с огромным вырезом на спине. Они были пьяноваты.

– У меня полчаса назад зверски схватило живот, – громко сообщил толстяк, – я чуть не заплакал. Что-то невероятное! Вроде мы прекрасно поланчевали сегодня. Пришлось выпить водки с солью. И – как рукой! Вот что значит древний рецепт. У вас в порядке с животом?

– Абсолютно, – ответил Джозеф.

Дама и капитан молча ели.

– В Средние века, когда болел живот, на него клали руку покойника, – произнес мальчик. – И все сразу проходило.

– Прекрасно! – усмехнулась Алиса. – Надо учесть в нашем бесконечном круизе. У нас же большой холодильник, кэп? Покойник влезет?

– Спокойно, – ответил капитан. – И покойница тоже. И вместе улягутся легко.

– Нет, ну это финиш! – не унимался толстяк, заправляя себе салфетку. – Спазмы дикие, мама, я не припомню таких спазмов, тьфу-тьфу, чтоб это никогда не повторилось.

Он постучал костяшкой толстого пальца по столу.

– Если бы у тебя была новая блоха, а не твоя старая F4, она бы тут же сказала, что это, – произнес мальчик. – И вылечила.

– Обошлись и без насекомых, – Алиса глазами показала стюарду, чтобы ей налили белого вина.

– Авигдор, ты же знаешь, мы с Алисой не очень любим блох, – Рафаэль подмигнул мальчику.

– Думаю, живот схватило из-за недостаточной алкогольной интоксикации, – произнесла Алиса.

Толстяк захохотал. Алиса поцеловала его в висок.

Дама с ненавистью смотрела на них:

– Раф, ты не становишься, а уже стал дебилом.

– Не согласен, мама, – с улыбкой возразил толстяк, наваливая себе на тарелку закуски.

– Эсти, не надо за столом употреблять это слово, – Джозеф чокнулся с ней и с капитаном.

– Бесконечное путешествие – залог всеобщей дебилизации, – подняла свой бокал Алиса. – Выпьем за это?

– Пей сама, пей, – раздраженно покачивала головой дама. – Теперь это будет ваш вечный тост.

– Мама, мама… – улыбался толстяк, хорошо глотнув вина и начав с жадностью поглощать еду. – Ты не представляешь, как мы сегодня с утра скучали по тебе… ммм… мы плакали… даже, когда… ммм… любили друг друга…

Алиса прыснула в бокал.

– Идиоты! – Эсти злобно усмехнулась.

– Ша! – махнул салфеткой Джозеф. – Не забывайте, какой сегодня вечер.

– Пора бы и дедушку позвать, – посоветовал мальчик. – Почему мы без него наворачиваем? Папа! Это свинство.

– Арсен, зови их, – приказал Джозеф стюарду.

Тот ущипнул свою умницу на поясе. И еще через 21 минуту в столовую въехала старомодная коляска с очень старым человеком. Но человек, который ее вез, выглядел еще старше. На седых головах обоих были кипы.

– Шалом, – произнес старик, везущий коляску.

– Шалом! – ответили сидящие за столом.

Сидящий в коляске молча улыбался.

– Я имею вам сказать, что мы ждали вашего призыва давно, – проговорил везущий коляску на ужасном английском.

Сидящий в коляске молчал. Эсти встала и обняла старика в коляске:

– Добрый вечер, саба.

И кивнула другому старику:

– Добрый вечер, Иосиф.

– Присоединяйтесь к нам! – заулыбался Джозеф.

– Саба, дорогой, я так по тебе скучал, чуть… ммм… не плакал! – жуя, толстяк прижал руку к салфетке на груди.

– Дедушка, подруливай к моей планете! Тебя запаркует Спайдер-4, – мальчик дождался, пока старики приблизятся к столу, и обнял сидящего в коляске.

Лицо того словно застыло навсегда, губы были приоткрыты в полуулыбке. Старик Иосиф пробормотал браху. Началась

семейная болтовня за закуской. Саба хоть и с трудом, но старался есть сам одной рукой. Иосиф помогал ему. За иллюминаторами стемнело, в столовой зажгли свечи.

Наконец, Джозеф хлопнул в ладоши:

– Ша! Дорогие мои, сегодняшний ужин не совсем обычный. Наш дорогой саба решил устроить нам праздник. Вы слыхали про book'n'grill, это модная хрень, которой увлекается богема. Но дело не в ней, а в нашем любимом дедушке. Он родился, как вы знаете, девяносто два года назад в советском городе Одессе. Тогда окончилась Вторая мировая война, наш саба рос в тяжелые годы. Я был мальчиком, как Авигдор, когда саба рассказывал мне про продуктовые карточки, очереди за хлебом, нищету. И в один прекрасный день, на Пейсах, семье сабы улыбнулось счастье: они достали курицу. Тогда это было чудо. Из головы, ног и костей они сварили бульон, из мяса приготовили тефтели, а из печени, сердца, жира и кожи, снятой с куриной шеи, бабушка приготовила гефилте гелзеле. Одну-единственную, на всю большую семью. Я правильно рассказываю, саба? Ты слышишь меня?

Старик молча улыбался.

– Наш саба слышит лучше всех нас и имеет такой мозг, что мы все рядом будем как дети, – ответил за сабу старик Иосиф.

– Так вот, дорогие мои, сегодня наш саба делает нам подарок: модный book'n'grill, гефилте гелзеле на "Одесских рассказах" Исаака Бабеля. В юности это был любимый писатель сабы, мы с Эсти тоже его когда-то прочли. Вы его не знаете, но ваши блохи вам подскажут.

– Уже! – кивнул головой толстяк. – Оказывается, Сталин расстрелял Бабеля за то, что тот переспал с женой шефа его службы безопасности.

– Вот какие были писатели в старые времена! – пьяно хохотнула Алиса.

– А приготовит это наш гость с материка по имени Геза. Просим!

Все зааплодировали, я поклонился. Чемоданчик с книгой стоял возле жаровни. Я открыл его, возложил книгу на блюдо и, как положено, обнес книгой собравшихся, показав всем *полено,* на котором будет румяниться фаршированная шейка. Естественно, она уже была готова. Вообще, это довольно трудоемкое блюдо:

Фаршированная куриная шейка по-одесски
(*гефилте гелзеле*)

Шесть кусков кожи, снятой “чулком” с куриных шей, 200 г куриной печени, 200 г куриных сердец, 200 г куриного жира, 3 луковицы, 100 г муки, соль, молотый черный перец.

Сердца отварить и мелко нарезать, печень обжарить на сковородке и мелко нарезать, лук нарезать мелкими кубиками. Куриный жир мелко нарезать и жарить на небольшом огне, пока не получатся шкварки; в образовавшемся жиру обжарить лук, добавить сердце и печень, постепенно добавлять муку; обжаривая, посолить, поперчить. Остудить получившуюся начинку. Куриную кожу зашить с одной стороны, чтобы образовался мешочек. Нафаршировать мешочки, но не до конца, и зашить. Опустить мешочки в кипящую воду и варить 20 минут. Обжарить готовые фаршированные шейки на сковороде до образования золотистой корочки… вот это уже моя забота.

Шесть фаршированных куриных шей были принесены стюардом и уложены мною на решетку.

Пожелтевший с 1931 года титульный лист “Одесских рассказов” вспыхнул, эскалибур перевернул его и…

АЛИСА: Вау!

АВИГДОР: Дедушка, смотри!

ДЖОЗЕФ: Иосиф, подвинься, чтобы сабе лучше было видно!

РАФАЭЛЬ: Круто! Как у вас так получается? Это просто… фейерверк!

ДЖОЗЕФ: Никогда не думал, что книги могут так непрерывно пылать!

АВИГДОР: Саба, саба, ты видишь это?!

ИОСИФ: Саба видит все, как орел из большого неба!

ЭСТИ: Скажите, Геза, пепел сожженных книг не стучит вам в сердце по ночам?

Я: Нет.

РАФАЭЛЬ: Мама, ты всегда была невозможно сентиментальна. Я в тебя!

АЛИСА: Послушайте, это… так красиво! Раф, почему мы… раньше никогда?!

КАПИТАН: Моя первая жена дважды побывала на book’n’grill.

РАФАЭЛЬ: Круто пылает! О, оказывается, этот Бабель после публикации двух первых рассказов попал под суд по трем статьям: порнография, кощунство и покушение на ниспровержение государственного строя.

АЛИСА: Он был крутым парнем! Молодец, саба!

ЭСТИ: Саба, ты доволен? Тебе хорошо?

ИОСИФ: Сабе так хорошо, что все мы сейчас подпрыгнем и будем потом иметь прекрасную жизнь и большую удачу.

Лицо сабы, как я заметил краем глаза, не изменило своего выражения.

Когда все завершилось, я выложил подрумяненные куриные шейки на блюдо и подал гостям.

– Присоединяйтесь к нам, – пригласил Джозеф.

– Не могу. Нам не положено.

– Исключения бывают? – спросила Эсти.

– Нет.

Стюард сервировал мне столик в моей каюте. Пока он откупоривал рислинг, я спросил его об устойчивости катамарана в сильный шторм. В ответ он разоткровенничался. От него пахло джином. Он изъяснялся поэтически:

– Пару раз Посейдону очень хотелось нас перевернуть, но обошлось. Когда живешь в нейтральных водах, выбора нет – надо выплывать в любой шторм. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots…

– И долго вы так выплываете?

– Третий год. Материк не может простить нашему сабе бриллиантов и изумрудов. У него они тоннами вылетали из рукавов. Из левого – бриллианты, из правого – изумруды. Он щедро дарил их неблагодарному человечеству.

– С помощью молекулярной машины?

– Именно. Bon appétit, monsieur.

– Merci bien.

Стюард удалился, оставив меня в обществе еврейской закуски + рейнского вина. Мда, интересно, тема молекулярной машины даже в океане достает меня… Хотя прячется это чудовище далековато отсюда, на севере, в горе Манарага, в пещере. А гора красивая. Манарага – "медвежья лапа" в переводе с ненецкого, как подсказала блоха. Похоже. Словно каменный медведь грозит небу. Не небу, а Кухне. И нам придется его пристрелить…

Ладно, prosit. День удался вполне.

30 марта

Ночь: самолет Барселона – Санкт-Петербург – Сахалин. Со сном повременим. Захотелось вдруг почитать современную прозу. Я же не только *читатель*! Не помню, когда я делал это в последний раз. Блоха нашла мне модного писателя, баловня послевоенных интеллектуалов.

Итак:

Ее отсутствие наполняет нашу квартиру запахом zuue еще сильнее чем при ней это естественно она испускает сильнейший протуберанец zuue неизменно перед отбытием на службу перед пересечением границы между внутренним пространством обитания и внешней средой как и положено зооморфам Шестой Семьи то есть между интерьером и экстерьером а наша уютная квартирка стремительно пропитывается zuue к моей радости к моему самозабвению и это совсем другая радость я бы сказал не радость а восторг да это восторг отсутствия ее совсем другой нежели восторг от прикосновения к основанию ее божественных рогов витых любимых мощных полночных властных и страстных закрученных золотистой спиралью или от припадания к очаровательно глубоким ноздрям неизменно пахнущим мускусом или восторг от коралловых сосков всегда готовых наполнить мой рот горьковато-сладковатым молоком ее молоком которым она шалунья так любит брызгаться особенно когда она сверху и худые плечи ее дрожат от наслаждения нарастающего с каждым движением ее торса щекочущего мой живот палевой шерстью и из полуоткрытого рта раздается блеянье предвкушения нашего совместного содрогания или совместное полуночно-молчаливое испражнение на крыше когда она мне как дочь и луна на ее рогах и головка ее смиренна и сосредоточена и очи влажные сверкают в темноте и мировой закон над нами и звезды небесные внутри нас и все застыло в вечности бесценной в недвижности распахнутых зеркал чтобы наш кал благословенный во тьме как черный бриллиант сверкал но нет нет нет нет это радость другого свойства эти прощальные протуберанцы zuue содержат в себе столько нежности и обещания неугасимости наших чувств столько тепла безумной любви и ожидания чуда и подозрений и холода ее измен беспощадных непредсказуемых жестоких но так необходимых ее гибкому телу что я вдыхаю вдыхаю вдыхаю вдыхаю их бродя по нашему логову вдыхаю как божественный озон посланный мне через нее Шестой Семьей ее родовой озон заставляющий кровь мою бурлить и сворачиваться в венах эту субстанцию пьянящую мой мозг и отрезвляющую чувства как перед расстрелом у стены Mea Culpa вещество заставляющее осознать всю очаровательную безысходность нашего союза ах что союз я помню как она небесно-прекрасная в подвенечном платье проблеяла “ja-a-a-a-a!” в ответ британоголовому священнику и полная молока грудь ее качнулась так что я впервые осознал на что обрекаю себя но тем не менее прорычал свое “yes-s-s-s!” так что ее благообразные белобородые родители вздрогнули посеребренными рогами а грудь ее заколебалась сильнее ибо она поняла что и ее ожидает не совсем мягко говоря обычный союз

хотя когти мои ей не пришлись по вкусу сразу в первую ночь и она бодалась лягалась убегала блеяла и умоляла и лунный свет преследовал нас и ее спина со свежими следами моих когтей мелькала в анфиладе и я настигал настигал настигал мягкими прыжками по прохладному полу и вот последний бросок и стоны моей сладкой обожаемой жертвы моей золоторогой прелести и хруст ее тазобедренных суставов и персиковое дыхание сдавленного горла а потом на следующий день клубы ладана объяли нас и бритоголовый пастор пальцем в желтеньком колечке запер девку навсегда но протуберанцы zuue ох эти протуберанцы разбрызганные второпях и бульканье замка дверного и звук милых недавно подкованных золотом копытцев и отъезд автомобиля я вдыхаю zuue полной грудью и каждая шерстинка на морде моей оживает и трепещет я рычу так что трясутся бетонные стены деру когтями дубовую колоду и мочусь на нее даруя чувству своему временное пристанище в мечтах и надеждах я мечтаю о новой встрече и надеюсь на продолжение нашего союза каждое утро каждое утро я провожаю мою золоторогую радость прощаясь с нею неизбывно навсегда и дабы утешиться распахиваю ее платяной шкаф вторгаюсь в этот сад радостей пахучих и втягиваю ноздрями шелк платьев и роняю редкие капли мочи на батарею ее ботильонов о эти ботильоны ботильоны ботильоны которые всегда просят моего огня о эти шляпки и пояски эти лифчики и корсеты о эта пена нижнего белья в которую я окунаюсь каждое утро и выхожу на брег чтобы вечером встретить ее после трудового дня как в первый раз неизменно с рыком гневным и жаром сердечным когтями зубами хвостом беспощадным буйством глаз и половодьем уст до дрожи до хруста позвонков и ее жалобного блеянья когда несу свою хрупкую добычу к нашему ложу бордовому от нашей запекшейся крови так дай же дай же дай же вдохнуть мне твой прощальный zuue моя тонконогая моя виторогая прелесть и я осознаю и прочувствую я содрогнусь и онемею я умру и воскресну для нашей неземной для нашей чудовищной любви.

Мда, у меня сразу профессиональный вопрос: что на таком можно приготовить? Fusion, да? Например, ассамбляж из фруктов, батата, мяса нутрии и ястреба. Вполне. Но дело в том, что жарить-то не на чем! *Полена* нет! Это всего лишь электронные вспышки. Современная литература живет только в пространстве голограмм, ей бумага не нужна. А на голограмме стейк не зажаришь. Поэтому мы и не *читаем* современной прозы. Хотя после войны многие почувствовали желание высказаться, стали писателями. Наболело. Это естественно после таких потрясений. Причем, как правило, писать начинали люди, физически

покалеченные войной. Была даже создана общеевропейская Ассоциация писателей-инвалидов. В прессе говорили о “новой волне”. Циничная богема окрестила ее “волной калек”. Наш утес – Кухню – эта волна не поколебала, никто даже и не попытался заговорить о желании *почитать* новенькое. Мы держим марку…

В полночь самолет ждет дозаправка в Санкт-Петербурге, красивом городе, построенном царем Петром на костях русских крестьян. Блоха сообщает, что крестьян в то время целыми деревнями сгоняли, вываривали в огромных котлах, кости дробили, мололи в муку, добавляли образовавшийся во время варки клей, гальку и получали так называемый *русский бетон*. Из этих бетонных блоков сложен фундамент Санкт-Петербурга. И надо сказать, город стоит до сих пор. Ни разу там не был. И не *читал*. Не зовут! Последние лет двадцать там, похоже, не до *чтений*.

Утро: Сахалин. Я приземляюсь на архипелаге Holo. Под самолетом – один из островов империи голографических грез. Во время войны holo-маги убежали на острова, дабы спасти свое производство от Нового средневековья. И это им удалось. Островов, по справке блохи, теперь уже 34. Сахалин – один из них. Все грезы производятся теперь на архипелаге, там и только там. Империя Holo полностью автономна, она обеспечивает себя всем необходимым. С материков кроме шампанского, старомодного кокаина и деликатесов завозится только человеческий материал – актеры и актрисы.

Первый хит архипелага Holo был произведен сразу после подписания Дижонского мира и впущен в послевоенную Европу – “Лолита”. Это был и первый полноценный holo-продукт. Год совпадал с годом экранизации романа Набокова режиссером Кубриком. Отец, любитель и ценитель старых, *плоских* фильмов, назвал его худшим фильмом этого режиссера. “В сердце Гумберта ему влезть так и не удалось”, – говорил отец. Зато через столетие это с лихвой получилось у гениального Арчи Арут. И вместе с ним в голове и сердце у одержимого профессора оказались миллионы мужчин. Лолиту сыграла аутентичная четырнадцатилетняя девчонка, найденная режиссером на рынке в руинированном Брюсселе. Любовная горячка *чувствотелей* сопровождалась скандалом, как и сто лет назад. И, как сто лет назад, уставшая от совокуплений в руинах и на пепелищах Европа хотела изысканной эротики в комфортном мире, и holo отстояли. Конечно, это был во многом чисто мужской trip. Миллионы бывших защитников Старого Света обливались в кинозалах

спермой и слезами. Империя Holo хорошо заработала и включила конвейер грез: комедии, боевики, мелодрамы. Женщин очаровали holo-римейком “Унесенных ветром”. Естественно, действие происходило в Европе, в Провансе: фиолетовые лавандовые плантации, девичьи радости, первая любовь, неженское лицо войны, грязные моджахеды с кривыми ножами и членами, врывающиеся в родовое поместье, поцелуй в огне, роды, беременность, выкидыш, потеря любимого, уходящая в туман прошлая надежда и голос отца, проникающий в сердца купивших билеты:

– Скарлетт, когда-нибудь ты вернешься в Le Château de Mauve-Brise. И начнется новый день.

Запах лаванды наполнял зал, героиня подставляла свое красивое лицо родному фиолетовому ветру. Женщины плакали. Лавандовое мыло “Скарлетт” продавалось на каждом углу. И началась эпоха holo-girls и Holo…

Из аэропорта меня везут на место. Подогнали длинный лимузин, в котором возят holo-stars. Вокруг – бурная растительность + кубы павильонов. *Плоский* кинематограф, как известно, уперся в перепроизводство цифровых чудес: монстры, динозавры, путешествие по галактикам, фантастические превращения надоели человечеству, и оно взалкало *человеческого размера.* Особенно после войны. Зрители захотели земных чувств. Что империя Holo и предоставила. Фантастических holo теперь вообще производится крайне мало. Люди соскучились по простым историям: любовь, радость душевная и телесная, ревность, религиозная экзальтация, преступления, саспенс, хорор, семейный уют. Действие ограничено земным пространством. Жанрово преобладают комедии. И классика, конечно, получившая визуальный и чувственный объем. Это два туза, которые побили всех динозавров и космических пришельцев. Нынешние дети смотрят holo про смешные и опасные приключения сверстников на планете Земля. Это совпало с печальным открытием наших яйцеголовых: во Вселенной нет не то что братьев по разуму, а даже простейших живых тварей. Мертвый мир окружает нас.

– Улыбка Творца! – шепчет мне блоха.

Йе-йе. Улыбнулся в бороду. На Proxima-B тоже никого нет, кроме “благоприятных природных условий”…

Прибываем на место. Воздух за окном лимузина становится туманным. Останавливаемся, дверь открывают. Выхожу. Запах пепелища, как и ожидалось. И под моими ботинками вкусно хрустят головешки. Впереди – длинный стол, за ним восседают тринадцать.

Да. Этот старый заказ запланирован семь месяцев назад.

Известный режиссер, редко, но метко радующий публику holo-классикой, каждый раз после завершения съемок совершает один и тот же ритуал: сжигает декорации, ставит стол на пепелище и совершает Тайную вечерю с актерами. Естественно, негласно занимая место Христа. Снимает он, к слову, кр-р-р-р-райне медленно, но выпускаемый продукт стоит того. Последним была “Мадам Бовари”, а сейчас – “Мастер и Маргарита”. Ужо *почитаем…*

С чемоданчиком в руке приближаюсь к столу, похрустывая головешками. За ним сидят персонажи романа, каждый в своем образе – и черный жирный кот, и голая служанка Гелла в передничке, и клетчатый Коровьев, и мрачный Воланд в серой тройке, и Мастер в шапочке. В центре – режиссер, молодой светловолосый человек в очках. Он одет современно, без усилия. На кого он похож, блоха?

– На художника XX века Энди Уорхола (06.08.1928–22.02.1987), изобретателя поп-арта. Внешнее совпадение 86,4 %.

Точно. А сколько лет режиссеру?

– 72 года.

Чудесно. Выглядит он на 30. И многое успел.

– Здравствуйте, господин повар! – с приветливо-застенчивой улыбкой на лице режиссер привстает, подает мне руку.

– Мое почтение.

– У нас все готово для праздника.

Его застенчивая улыбка – мощное оружие. Он умеет им пользоваться. Понятно, почему продюсеры вбухивают в него миллионы и терпеливо ждут, пока он разродится очередным продуктом.

Перед столом – жаровня. Рядом с ней – металлический кейс почтальонов. Официанты потчуют всех шампанским. Двое из них – в моем распоряжении. Переоблачившись, открываю кейс, достаю первое русскоязычное издание романа (1969, “Посев”, Франкфурт-на-Майне), кладу на серебряное блюдо, обношу клиентов. Комментарии возникают сами собой.

ГЕЛЛА: Какая прелесть!

КОРОВЬЕВ: Черт побери, но не с этого же все началось?! Где рукопись, Азазелло?

АЗАЗЕЛЛО: Ты же знаешь, на рукописях нельзя жарить, они не горят.

ВАРЕНУХА: Добраться до рукописи непросто. Это денежка другого порядка.

КОТ (*подмигивает режиссеру*): Ну, если бы не третья пересъемка бала Сатаны, муррр, а? Смогли бы сейчас потянуть и рукопись?

РЕЖИССЕР: Не надо делать из рукописей культа.

ВОЛАНД: Вполне прилично издано.

МАРГАРИТА: Это печаталось в подполье, тайно? С риском? С опаской?

БЕРЛИОЗ: Это издано в Германии, в эмигрантском издательстве, а не в СССР.

БЕЗДОМНЫЙ: Вот, вот! Махровая антисоветчина! Удивляюсь, как автора не расстреляли!

ПИЛАТ: Автор заслужил покой и волю.

ЛИХОДЕЕВ: Book'n'grill на пепелище – это круто, круто!

МАСТЕР: Мда, книга – не рукопись… Она всегда сгорит.

К жаровне подъезжает столик с гастрономическим продуктом: тринадцать металлических стаканчиков с ручками, эдаких уменьшенных ретро-кастрюлек. Можно различить оттиснутую на ручке фирму "Моссельпром". И в каждой лежит кусочек судака + кружочек моркови + специи. Идея режиссера.

Блохи снова напоминают цитату из романа про порционных судачков à la naturelle, приготовленных в ресторане "Грибоедов". Знаем, читали-с. Я должен буду исполнить этих судачков сейчас.

Мини-кастрюльки сдвигаются в центр решетки, вспыхивает спичка, эскалибур переворачивает титул. Мои движения точны и безукоризненны. Ветра нет, но я готов и к нему – выдвижные ширмы под рукой.

Voilà!

Мистерия началась.

МАРГАРИТА: Огонь, огонь! Сатанинский огонь!

ВОЛАНД: Не преувеличивай. Ко мне это не имеет отношения.

КОТ: Мессир, мы все равно в восторге! Рыбка, рыбка, это прекрасно!

КОРОВЬЕВ: Надеюсь, судачки у нас первой свежести? Господин режиссер?

РЕЖИССЕР: Рыба из сибирских рек. Наисвежайшая.

ЛИХОДЕЕВ: Надо успеть пропустить по рюмахе. Официант, водки!

ВАРЕНУХА: Подкрепиться после финального пожара – капитальная затея! Без пищи человек не может существовать!

МАСТЕР: Люди по-прежнему падки на символические ритуалы… Как скучен мир, Марго.

БЕЗДОМНЫЙ (*декламирует*): Я рыбку безумно любил, давно это было, друзья! Когда рифмоплетом я был, когда атеистом был я! (*Орет.*) Во-о-о-одки, сволочи!!

ГЕЛЛА: Фу, дурачок… Шабли, только шабли!

ПИЛАТ: Рыбный суп пахнет лучше розового масла. Гораздо лучше.

БЕРЛИОЗ: Э-э, что-то не так пошло у молодого человека… Смотрите!

Черт!

Ужас-с-с-с-с-с-с…

ка

та

стро

фа

Мне подсунули подмоченное *полено*. Это случается на Кухне все чаще. Но у меня – впервые…

Начиная со сцены в “Грибоедове” в книге – влажная бумага! Тонко сделано – края сухие, лишь середина деликатно подмочена инъекцией в корешок. Но я же проверил. Блохи!! Вы подвели меня?!

– Нет, господин наш любимый, *полено* было сухим при осмотре, влажность 2,6 %. Вероятность заложенной в корешок ампулы, сработавшей на увлажнение при нагреве *полена*, – 76,5 %.

Мать вашу! Они не видят книги насквозь, естественно…

О, блохи, вы не всесильны.

Дым, копоть, клочья…

Эскалибур, помоги.

Фехтую, пытаюсь поддерживать пламя по краям страниц. Но это не спасает! Середина, мокрая середина… Я жалок в вынужденной суете. С мокрым *поленом* невозможно справиться. Оно утопит любого.

Не *читается* мне, не *читается*…

Подставили…

Ублюдки!

Конец.

Книга чадит и еле тлеет.

В дыму и в позоре.

И

вот

расплата…

ВОЛАНД: Молодой человек, поведайте нам, разве book’n’grill бывает второй свежести?

МАРГАРИТА: Что, что он делает?!

КОТ: Мессир, нас подло обманывают!

КОРОВЬЕВ: Ба! Да нам подсунули шарлатана, господа! Поздравляю! И вас, молодой человек, поздравляю подсунумшись!

Я (*пытаясь поддерживать тающий огонь*): Господа, против меня совершена диверсия конкурентов… книгу подло подмочили…

БЕЗДОМНЫЙ: Он хочет нам испортить праздник!

ГЕЛЛА: Значит, я зря пью шабли?! Ах ты, мерзавец! (*Плещет в меня вином.*)

ВАРЕНУХА: Вот сволочь, а? А такие приличные манеры!

БЕРЛИОЗ: Я всегда говорил, что эта мода – вредна и порочна.

Я (*суетясь безнадежно*): Господа, я компенсирую вам ущерб… мы можем перенести трапезу на ближайшие дни… все будет в лучшем виде, уверяю вас… доставим сухую книгу… наша Кухня все компенсирует…

БЕЗДОМНЫЙ (*угрожающе встает, отбрасывая стул*): Не-е-ет! Твоя чертова кухня устанет компенсировать!

КОТ: Мяяяаааууу! Узурпаааааатор!

АЗАЗЕЛЛО: Гнида!

РЕЖИССЕР (*с милой извинительной улыбкой*): Мне кажется, сейчас вас будут бить.

Что и произошло.

3 апреля

Вечер: отдадим должное, бить голографисты умеют: расквашенная губа, бланш под глазом, пара шишек на затылке, только что прошедшая боль в левом боку. Да еще левое плечо заныло, то самое…

Теплых судачков вывалили из кастрюлек мне на голову. Потом меня потоптали на пепелище. Затем отправили в местный аэропорт. За мой счет, естественно…

Увы, в нашем послевоенном мире рукоприкладство стало печальной повседневностью. Война вроде закончилась, а люди все бьют и бьют друг друга по мордам в магазинах, ресторанах, игровых зонах, на улицах, в борделях, в банках, в прачечных, в поездах дальнего следования… Философы усматривают в этом расширяющуюся послевоенную трещину в христианской морали. Впрочем, мусульмане в этом не отстают от христиан.

Мордобой я вообще-то не одобряю. В детстве сам был подвижным мальчиком, хорошо бегал, играл и стрелял, но не любил драться. Съездить кому-нибудь единообразно по морде – легко. Запустить девчонке руку в трусы – легко. Украсть что-то – легко. Помочиться в карман учительского пальто – легко. Но драться – не мой профиль.

Теперь я на Хоккайдо, благо это рядом с мерзким Сахалином. Запомнится он мне и блохам надолго…

Здесь хороший отель с горячим источником, в котором я отмокаю третьи сутки. Потягивая чай из жженого риса и глядя на сосны за окном, стараюсь выдавить из памяти происшедшее. Красная блоха помогает. Диверсией уже занимается наша СБ.

Бывает, что ж…

Да, книги не всегда горят. И в них нам впрыскивают не только воду. Могут впрыснуть и взрывчатку. Тогда книги взрываются. Четыре погибших повара, семь покалеченных. Как говорил Zokal:

– Геза, ты овладеваешь дорогой, интересной, сложной и опасной профессией.

Кто подложил мне *мокрую* свинью – почтари, повара или реставраторы? СБ докопается.

Да, да… Не всегда горит *полено.*

Вообще, даже при нормальном *чтении* сгорает не вся бумага. Остаются полосы у корешка, по-нашему *бабочки,* а иногда – острова в середине страницы. На Кухне они именуются *головешками.* У нас их принято коллекционировать. Голографически, конечно. Таскать за собой огарки первоизданий, похищенных из музеев, опасно. У меня всего 139 *головешек.* И теперь самая большая – последняя, из “Мастера и Маргариты”, – почти целая страница с обгорелыми краями. Тот самый момент, когда голая и невидимая героиня влетает на метле в квартиру критика Латунского, погубившего Мастера своей рецензией на его роман о Понтии Пилате. Разгром этой квартиры и запечатлен на *головешке.* Которая сейчас оживает и светится передо мной в предвечернем полумраке комнаты.

…евидимая летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряслись от нетерпения…

…сступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все сторон…

…яжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны…

…з кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стол…

И т. д.

Черт возьми, я сорок пять раз *читал* Булгакова. И все довольно чисто. От *чтений* остались лишь две *головешки.* “Театральный роман”:

…тут порхнул и смешок и…одисмент и послышались поцелуи…

…кой с кем целовался накрест… шутливо отворачивался, закрывая лиц…

…елой ладонью, как будто слеп от солнц…

…еня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды…

…от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном

и сигар…

И “Собачье сердце”:

…сть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как… и что при это говорить…

…е говорите за обедом о большевизме и о медицин…

…ациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосх…

…аставлял читать “Правду”, теряли в весе!

– Гм?.. – с интере…

…розовея от супа и вина…

Я профессионал. Был, есть и останусь. Назло всем сволочам.

4 апреля

День: ну вот, настало время *почитать* бандитам. Трансильвания, поселение Брашов, цитадель на холме. Итало-румынская свадьба. Жених – сицилиец, сын известного торговца “золотыми рыбками”, ставшими для послевоенной Европы главным наркотиком. Невеста – дочка местного бандита из правящей элиты Трансильвании. Третий день свадьбы, полтысячи гостей. После великой битвы при Коложваре и так называемого Трансильванского мира Трансильвания пережила парочку быстрых войн местного масштаба, связанных с дележом власти. Теперь здесь все в порядке, власть принадлежит военно-бандитской олигархии, окруженной верными цепными псами. В отличие от Лангедока, Пруссии и Баварии, монархические идеи в Трансильвании покамест не прижились. Банальный феодализм. Здесь в избытке новоявленных Дракул, чьи замки-крепости грозно украшают трансильванский ландшафт. Эта свадьба – яркий тому пример. Торжество проходит в старинной цитадели, расположенной на холме. Вокруг нее – руинированное поселение, ранее называвшееся городом. На башнях цитадели – автоматические пушки, пулеметы и огнеметы, по периметру – неугасимый луч безопасности, густая охрана с автоматами. Мда, трудно заподозрить местную власть в излишнем доверии к своему народу…

Свадьбу гуляют на главной площади цитадели. Сегодняшний день – исключительно book’n’grill. Шестьдесят девять наших поваров. Такое случается на Кухне. Именно эти бандиты за восемь секунд и купили тогда *чтение* “Мертвых душ”. Не знаю, как другие повара, но я *читаю* здесь только один раз. Уверен, что у них запланированы и десерты. Денег у них как грязи: после битвы золотая казна армии Абубакра осталась в Трансильвании. Гуляют широко!

Итак, вся свадьба восседает за огромным столом-тором, в

центре которого оказываемся мы, *читатели.* 69 жаровень! Повод снова встретиться с нашими. Перемигиваемся. Все в белом, у своих жаровень со своими чемоданчиками: Джеймс, Саша, Ли, Эрик, Лукас, Алвизо, Михель, Майкл, Марсель-Бретер, Николя, Рекс, Витторио, еще один Витторио, Славой, Георг, Гордон, Владимир, Валентино…

Появляются слуги с подносами. Открываем чемоданчики почтальонов, выкладываем *дрова* на подносы. И обносим первоизданиями неблагородную публику. *Кладня* простовата и пестровата, в основном детективы и хоррор XX века:

“Крестный отец”, “Судья и палач”, “Десять негритят”, “Ребекка”, “Фаворит”, “Умри тяжело”, “Мыс страха”, “Парк Горького”, “Мизери”, “Последний выход в Бруклин”, “Сияние”, “Вскрытие показало”, “Ланч обнаженных”, “Желтый пес”, “Восставший из ада”, “Игольное ушко”, “Шпион, пришедший с холода”, “Пора убивать”, “Морской волк”, “Изгоняющий дьявола”, “Лунный камень”, “Дети кукурузы”, “Мальтийский сокол”, “Азазель”, “Команда Смайли”, “Признание авантюриста Феликса Круля”, “Птицы”, “Шум и ярость”, “Три мушкетера”, “Смерть под парусом”, “Волчица”, “Королева Марго”, “Купе смертников”, “Лифт на эшафот”, “Собака Баскервилей”, “Убийство Роджера Экройда”, “Тайна желтой комнаты”, “Кровавая жатва”, “Камера обскура”, “Ребенок Розмари”, “Крик совы”, “Зигзаги подлости”, “Молчание ягнят”, “Наш человек в Гаване”, “Аэропорт”, “Флетч”, “Английский пациент”, “Дело перепуганной машинистки”, “Золотой храм”, “В круге первом”, “Душной ночью в Каролине”, “Когда спящий проснулся”, “Вдова Кудер”, “Преступление и наказание”, “Покойник из Найроби”, “Приключения Калеба Вильямса”, “Скрытые лица”, “Шакал”, “Ловушка для Золушки”, “Вампирские хроники”, “Бытие и время”, “Они жаждут”, “Процесс”, “Звонок в дверь”, “Американская трагедия”, “Знак четырех”, “Дьявол в синем”, “Хладнокровное убийство” и “Мертвые души”.

Чтение тянет на пол-лимона. Раритетов здесь хоть и немного, но все-таки…

Со своим увесистым *поленцем* на подносе двигаюсь по тору между Марселем и Алвизо.

Я: У них еще будут *чтения*?

АЛВИЗО: Вечером – женский роман. Рыба.

МАРСЕЛЬ: В полночь – юмористические рассказы. Десерт. Потом – фейерверк.

Я: Из пушек и пулеметов по спящему городку?

АЛВИЗО: И из огнеметов – тоже…

Жених и невеста приветствуют нас бокалами с шампанским. Они молоды, полны ожиданий и возможностей. На физиономии гостей лучше не смотреть: бандит на бандите + вульгарные бабы.

Занимаем места у жаровень. У меня на решетке – дюжина устриц под пармезаном. У Алвизо – фазаньи сердца, у Марселя – морские гады из Марселя. Блоха сканирует все жаровни: торжество пикантных блюд.

Звенит гонг. Вспыхивают старомодные спички. Пламя касается бумаги. Эскалибуры перелистывают титулы.

Началось!

Громко звучит… нет, не “Полет валькирий”, не болеро Равеля, не “Обнимитесь, миллионы!”, а румынский народный танец “Кулюш”. Что поделаешь, все соответствует…

И не успеваю я спалить Чичикова, пожаловавшего на вечеринку к губернатору в своем брусничном фраке с искрой, как какой-то молодой бандит в белом фраке без искры выхватывает пистолет и начинает палить в воздух.

И зачем, во что палит он? Кровь молодая не успокоилась, все еще бурлит и рвется из жил? О, горячая трансильванская кровь, богато кропившая свою землю, летящая рубиновыми брызгами во все стороны света так, что меркло солнце войны и мусульманские женщины стыдливо опускали очи свои! Помнит, помнит Европа битву при Коложваре, когда треснул щит моджахедов и гордые воины Аллаха захлебнулись в крови трансильванской. Подобно девятому валу вздыбилась волна крови в ночь под Рождество, нависла над пришедшими с юга покорителями Европы и обрушилась красной лавою, давя встречного и поперечного. Хлынули-потекли кровавые реки по Бессарабии, Валахии, Буковине и Галичине, топя новых варваров. Содрогнулись Карпатские горы, снялись орлы с дубрав, заалела поутру вода в крестьянских колодцах и вскрикнули протяжно матери и жены. Так неужели не всю кровь отдали горячие трансильванские сердца? Вот стреляет, стреляет он, словно жалея, что не все расплескал в ту кровавую зиму победы, что готов брызнуть алым и горячим в лицо пришельца, выжигая до костей глаза его. О, не спеши, молодец, сбереги кровь свою для мирной жизни, смени орудие убийства на орудие любви, и да хлынет кровь твоя в исстрадавшееся тело возлюбленной, будя новую жизнь для нового мира. Эва! Да он и не собирается больше стрелять. Вскинул руки, гикнул да и пустился в пляс. А за ним – и остальные. Ах, добрая пляска! Огневая пляска! Лихо пляшут трансильванцы! Ширится круг, мелькают молодые и старики, выбивают искры из гранита кованные платиной сапоги. Вот седой как лунь старик с грозным

носом и горящим глазом раскинул руки, разбежался, налетел, крикнул бешеным вороном да и впрыгнул в круг, завертелся так, что полы сюртука поднялись-распустились крыльями и сверкнули два золотых пистолета за алым кушаком. “Кулюш! Кулюш!” – кричит он так грозно, что молодцы одобрительно гикают, а жены их застенчиво смеются. А вот молодой, успевший уже опрокинуть восемь чарок огненной цуйки да втянуть в ноздрю свою одним махом столько белого порошка, сколько не выпадает за зиму снега в его родном Марамуреше; свистнул так, что похватались за уши слуги, роняя подносы свои, ворвался в круг, завертелся волчком с такою силой, что лопнула мотня, брызнули серебряные пуговицы и вырвался на свободу древний зверь, не знающий пощады к невинным молодицам, обновленный китайскими эскулапами, увитый двумя оранжевыми драконами, увенчанный мормолоновой короной.

Пляшет, пляшет народ свободной Трансильвании, вьется и ликует над ним светлый дух праздника. И пляшут вместе с ним в братском круге все народы свободной Европы.

– Блоха, ты провоцируешь?
– Мой господин, я пытаюсь вас развеселить.
– Не нашла лучшего время для веселья?
– Вы удручены местным жлобством.
– И ты решила обрадовать меня?
– Разве я плохой стилист?
– Ты становишься все более самоуверенной.
– Меня вдохновляет ваша ушная раковина.
– Ты слишком комфортно в ней устроилась.
– Брюзгливость не идет вам, мой господин.
– Вот запихну тебя в эту устрицу…
– И меня проглотит трансильванский бандит?
– Проглотит, запьет белым вином.
– И я пройду через его перистальт?
– И окажешься в унитазе.
– Всплеснусь, воскресну и вернусь!

Мда. Блохи мои совершенно распустились. И с этим трудно что-либо поделать…

Voilà! Устрицы под пармезаном готовы. Жри, бандитское отродье!

8 апреля

День: Париж. Grand Opéra. На служебном входе меня встречает огромный африканец с огромной бородой и огромной

умной серьгой, поднимает на лифте, ведет по лабиринту коридоров к артистической гримерной. Отпирает дверь, оставляет меня в комнате. Здесь подсвеченное зеркало с подстольем, стол, мягкая мебель, напитки, фрукты в вазе. Жаровня. На стене – монитор в позолоченной раме. В нем видна сцена с расположившимся на ней оркестром. Играют вступление. Судя по одежде дирижера и оркестрантов – репетиция. Или запись. Блоха идентифицирует оперу: *The Children of Rosenthal.* Нет, все-таки репетиция. У меня в запасе еще тридцать одна минута, *чтение* сегодня совсем простое. Могу расслабиться после дороги, послушать музыку. Хотя в операх я ни хрена не понимаю, даже с помощью блошек. Сажусь на диван, беру яблоко. В мониторе женщина начинает петь, глядя в ноты. Поет по-русски. Блоха идентифицирует текст:

В саду сидел я.
День был светел и тих.
Ветви яблонь цветущих
Чуть трепетали.
Сияла лазурь, и солнце
Потоки лучей низвергало
На тихую землю.
Вдруг в синеве
Появился божественный лебедь,
Стал кругами спускаться ко мне.
И скользил, и летел,
Благородные крылья раскинув.
Я, любуясь его красотой,
Замирал и молил,
Чтобы вечно продлился
Полет этот чудный.
Он все ниже спускался,
По ветру скользя,
Становясь все белей и прекрасней.
Вдруг из крыл белоснежных
Брызнули черви!
Словно град, застучали
По свежей листве,
По моей голове, по лицу и рукам!
Лебедь больной спускался с небес,
Криком печальным скорбя о великой утрате!
В нежной лазури плоть распадалась его
Так стремительно, так безвозвратно!
Крик его вдруг оборвался.
К ногам моим лебедь упал.

– Стоп! – дирижер стукнул палкой (не палочкой!) по пюпитру. – Послушайте, неуважаемые мои! Я не понимаю – где мы? В Гранд-Опера или в харчевне старого Хоттаба? Альты, что за собачий вой в девяносто втором такте?! Виолончели, ну вылезайте же из тухлой ямы! Сдерите коросту с лица! Стряхните шайтана с грифа! Вдохните, вдохните свежий воздух! Кларнеты, вы снова забыли про двугорбость. Я вам ничего не говорил?! Вы оба – двугорбый верблюд, величественно бредущий к водопою, а не побитая старая кляча, везущая на базар коровьи лепешки! Я хочу услышать музыку ваших горбов! Вообще, оркестр сегодня похож на колоду, на которой мясники разделывают коровьи туши! За что вы так ненавидите музыку?! За такую игру с вас надо содрать кожу, сделать из нее барабаны и вечно играть на них “Ионизацию” Вареза! Госпожа Viazemskoy, я прошу прощения за моих нерадивых музыкантов!

ПЕВИЦА: Не стоит извинений… (*Глядя на часы.*) Тем более – уже обеденный перерыв.

ДИРИЖЕР: Уже?! Вах! (*Оркестру.*) И что мы сделали? Я спрашиваю вас, ничтожнейшие из земляных червей, что мы успели сделать сегодня?!

Певица пошла со сцены.

Я успел переодеться и все приготовить. Дверь открылась. Вошла певица, за ней – розовощекий толстяк с живым взглядом.

– Маэстро! – он приветливо раскинул руки. – Вы уже ждете нас? Прекрасно!

Я поклонился. Певица молча кивнула и со стоном опустилась на диван:

– Оооо… Как же они лабают сегодня…

– Диана, не знаю, каким чудом они мне вчера так хорошо сыграли! – толстяк прижал свои пухлые руки к груди. – И я прекрасно спел! Но сегодня… лабухи! Алишер в ярости, ты видишь.

– Я вижу! – хохотнула она басом. – Какая у него правильная дирижерская палка! Он бьет их? По каким местам?

– Ну, это зависит… Я слышал, что одной флейтистке он однажды сломал палец. Да… маэстро, маэстро, мы готовы!

– Не совсем, – поморщилась певица.

– Что такое, Диана? – забеспокоился толстяк.

– Милый, ты совсем не заботишься обо мне, – она кокетливо качнула широкими плечами.

– О, прости, прости! – он всплеснул руками, полез в карман, вынул золотую табакерку, открыл, снял с галстука золотую ложечку, зачерпнул из табакерки белого порошка и бережно поднес к ноздре певицы. Она моментально втянула в себя

порошок и подставила другую ноздрю. Толстяк поднес новую порцию, которая так же стремительно исчезла в ноздре певицы.

– Grazie mille… – не прикоснувшись к носу, она царственно откинулась на спинку дивана.

Толстяк быстро обслужил и свой нос, зашмыгал, закряхтел, запыхтел, хотел было спрятать табакерку, но палец певицы повелительно указал на журнальный столик. Он поставил туда табакерку, положил рядом ложечку.

Я надел белые перчатки, открыл чемоданчик, достал книгу, положил на поднос, предъявил клиентам:

– Марк Агеев, “Роман с кокаином”, Париж, 1936.

Они молча уставились на поднос. В ухе толстяка раздались тончайшие вибрации.

– О нет, нет, – недовольно застонал он, но все-таки принял вызов. – Да. Я. А, привет. Что? Зачем? Ну… ладно.

Голограмма развернулась, человек с нагло благожелательным лицом и пышной шевелюрой прижал руки к груди и опустился на колени:

– Великая, несравненная, очаровательная Диана! От имени всех оркестрантов я приношу вам самые глубокие, самые искренние, самые кровоточивые извинения за нашу бездарнейшую, безобразнейшую, омерзительнейшую игру сегодня!

Певица перевела вопросительный взгляд на толстяка. Тот отключил звук:

– Это Фира Хариб, душа оркестра и мой старый приятель. Контрабасист.

– Благодарю вас, – кивнула она. – Дело житейское. На записях случается и не такое.

– Только не с нами! Только не здесь! От стыда мне остается лишь превратиться в соляной столб!

– Может, в сахарный? – усмехнулась она.

– Фира, тухлый ветер сегодня дует от виолончелей, – сообщил толстяк.

– Марио, Алишер обещал их избить палкой по пяткам! Они прекрасные музыканты, после перерыва сыграют божественно, но, черт возьми, утром кто-то их сглазил! А главное – обосраться на арии Вагнера, это же нефритовый стержень всей оперы! Это ужасно! Это омерзительно! Это гадко! Это стыдно! Диана, вы не представляете, как мне стыдно!

– Представляю. Встаньте.

– Не встану!

– Встаньте.

– Не встану.

– Ну и не вставайте… – она кивнула толстяку, тот открыл табакерку.

– После перерыва мы потрясем вас чистотой, ясностью и всей, всей, всей нашей оркестровой мощью!

– Я готова… – она громко втянула в себя порцию порошка.

– Мы вас поднимем в воздух, пронесем над весенним Парижем и бережно опустим на землю.

– И к этому я готова, – она втянула вторую порцию.

– Ну, тогда я встаю с колен! – нагло рассмеялся Фира и ловко вскочил на ноги. – Марио, дорогой, любимый, маленький, ты не представляешь, как я люблю вас с Дианой!

– Мы уже вместе? – иронично глянула певица на толстяка.

– Спасибо, спасибо, Фира, дорогой… – тот подносил полную ложечку к своей ноздре.

– Исчезаю! Растворяюсь! Дервиши покидают вершины!

Голограмма пропала.

– Галантный, – усмехнулась певица.

– Прекрасный музыкант. Был пианистом, потом съездил в Тибет, пожил там три месяца с монахами, вернулся и влюбился в контрабас. И стал гениальным контрабасистом. Удивительно, а? Чаще случается наоборот – бегут от контрабаса к другим инструментам, так, милая?

– И не такое бывает в нашем безу-у-умном ми-и-ире! – пропела вдруг она так громко, что у меня зазвенело в ушах и блохи испуганно зацвиркали.

– Маэстро? – требовательно улыбнулся мне толстяк.

Я положил *полено* в жаровню, чиркнул спичкой, взмахнул эскалибуром. На решетке покоилась ветка магнолии, искусно составленная из кусочков разнообразных фруктов. Ветка была облеплена сахарной пудрой. В углу гримерной деликатно заработала вытяжка.

И погас свет.

И огонь заиграл в их глазах.

И вдруг.

Они запели.

ОНА: **Книжный огонь.**

ОН: **Снежный сахар.**

ОНА: **Корчатся страницы.**

ОН: **Буквы горят.**

ОНА: **Весело и тепло.**

ОН: **Ярко горит, быстро сгорает.**

ОНА: **Плавится сладкий снег.**

ОН: **Роман исчезает.**

ОНА**: Пляска огня легка.**

ОН: **Сильное пламя.**
ОНА: **Сполохи слепят.**
ОН: **Сахар течет.**
ОНА: **Детская радость.**
ОН: **Раскрылись цветы.**
ОНА: **Над быстрым огнем.**
ОН: **Янтарный отблеск.**
ОНА: **Оранжевый свет.**
ОН: **Теки, карамель.**
ОНА: **Танцуй, огонь.**
ОН: **Вспыхни сильней.**
ОНА: **Сладкая ветвь.**
ОН: **Волшебный лес.**
ОНА: **Душа поет.**
ОН: **Душа поет.**

Книга сгорела хорошо. Без *головешек.*

В ушах – звон от их пения. Голоса у профи сильные.

Я выложил карамелизованнную ветвь на блюдо, поставил на стол. Зажегся свет.

– Милая, это для нас, – он поцеловал ей руку.

Затем взял ветку, преломил и протянул певице облитый застывшим сахаром цветок магнолии.

– Чудесно… – она захрустела цветком. – Знаешь, я только что вспомнила… это смешно… у меня скопилось два десятка платьев цвета фанданго, которые я больше не ношу. Год назад я вдруг влюбилась в этот цвет.

– Я это помню, – он сунул в рот лист и громко захрустел им. – Необычный цвет. Тебе это шло. Очень.

– Не лги, дорогой! Мы еще не были знакомы тогда.

– Я видел тебя в Лондоне на премьере “Богемы”… ммм… красивое платье…

– Ах да, правда! Так вот. Месяц назад я перестала носить фанданго. Я не знаю, что теперь делать с этими платьями. Кому их отдать?

– Сохрани их для… ммм… музея имени тебя…

– Чушь. Кому, кому отдать их? Как ты знаешь, подруг у меня уже нет.

– Оркестрантам предложить?

– Прямо сейчас, перед записью, а? – она рассмеялась. – Ох, они такое заиграют!

– Да, да, да! Заиграют “Розу Алжира”.

– Оперетту? Да, да!

– И мы с тобой споем!

Она громко расхохоталась. Потом посмотрела на меня:

– Молодой человек, спасибо. Красиво и вкусно.

– Да, да… – толстяк затряс головой, похрустывая. – Изумительно… и сам процесс… прекрасно!

– Получше, чем у вашего коллеги с “Дамским счастьем”, – пробормотала она.

– Вы очень добры, – поклонился я.

– Налейте-ка нам воды, – попросила она.

Я исполнил.

Они похрустывали веткой, запивая ее водой.

– Два десятка прекрасных платьев, – продолжала она. – Я целый год любила только фанданго! Это началось сразу после “Парсифаля”.

– Ну, дорогая, это же… – начал было он, но она прижала палец к его губам.

– Сразу, сразу после “Парсифаля”, хотя вся постановка была выдержана в сине-серо-черных тонах, там и сполоха красного не было, все получилось, все было прекрасно, но я была не очень собой довольна, я тебе рассказывала, что с Марко у меня отношения не очень, они были не очень и до “Парсифаля”, и сейчас по-прежнему не очень, хотя все, все критики писали про меня, что я спела как бы вопреки всему и вытянула спектакль, не я одна, конечно, вытянули мы с Эриком, Марко все топил собой, давил и топил, давил и топил, и утопил бы, если бы не мы, а мы вытянули, просто вытянули за волосы из этого сине-черного болота, и спектакль получился, и все были довольны, но я говорю, что я собой не очень была довольна, ты знаешь, я жестока к себе, так вот, я думаю, милый, что эта тяга к фанданго, к теплу, невероятная просто жажда живых цветов возникла у меня как реакция, с одной стороны, на это сине-черное дерьмо, а с другой – я рассталась с Борисом, я к чертям поругалась с Илоной, лучшей подругой, а дурочка Марта навсегда уехала в свою Америку, как говорится ade, mein schönes Vaterland, я всегда любила мужчин, ты знаешь, но в ту зиму я их просто воз-не-на-видела, я стала почти бестелесной, я даже перестала мастурбировать, я разбила вибратор молотком, осколок мне грудь поранил, я выбросила вибратор и все прошлое в помойное ведро, al diavolo, мне было так плохо, но весь год пела я на удивление хорошо, хотя внутри была серая, серая, серая пустота, омерзительная, гадкая, и я однажды, как сомнамбула, зашла в *Hermès* просто так, с улицы зашла и увидела платье цвета фанданго, и это было как всплеск, как сполох, как вспышка, как будто я попала в Андалузию на танец цыганок, и я сразу его купила, даже не меря, схватила,

просто окунулась в него лицом, в этот цвет, как в стихию, а потом стала покупать другие, другие, еще, еще, в разных магазинах, искала этот цвет, как одержимая, везде, в некоторых я никогда раньше не была, магазинчики, мелкие, еще, еще, еще, разные платья, дорогие, дешевые, надо мной подсмеивались продавщицы, я покупала, покупала стремительно и носила, носила, носила, словно доспехи, чтобы спрятаться, чтобы выжить, это был фанданго, мой цвет, мое спасение, моя защита от мира, от боли и серости, от гадости, от блядства, моя броня, а потом… я встретила тебя.

– Милая, знаешь, я тоже был… – начал он, но палец снова прижался к его пухлым губам.

– И даже есть шуба цвета фанданго из живородящего меха. Шуба! Она прекрасна. Она питается снегом и дождем. Кому отдать эту шубу?

– Отдай мне.

Она серьезно посмотрела на него:

– Ты знаешь, а тебе пойдет.

– Правда?

– Уверена.

Он поцеловал ей руку, оставив коричневатый отпечаток:

– Ты божественна!

– Я знаю, милый. Но ты опять забыл про меня.

– Прости, прости!

Они втянули по порции порошка. Запили водой.

И снова захрустели.

– Это прекрасно… – бормотала она.

И вдруг замерла:

– Дорогой…

– Что, милая? – он перестал жевать.

– Дорогой мой человек… – лицо ее словно окаменело.

– Что, что, Диана? – он с испугом уставился на нее.

– О чем ты сейчас говорил?

– Что я говорил?

– Ну, этому… сейчас…

– Кому?

– Ну, ты говорил…

– О чем? Кому?

– Ты говорил про нефритовый стержень.

– Нефритовый стержень? – он поднял брови.

Она взяла в свою руку большой палец его руки и сжала.

– Нефритовый стержень. На котором все держится… стержень… – она напряженно вглядывалась в его широкое лицо, – стер-жень… стер-жень…

– Ах… – он улыбнулся липкими губами и сразу обмяк.

Щеки его порозовели:

– Стержень… да, да… милая… это… да… маэстро! Вы… то есть…короче, мы благодарим вас. От души. Вы свободны.

Я поклонился, быстро снял халат и колпак, собрал свой чемоданчик.

Они молча пожирали друг друга глазами, она держала его за большой палец.

– Гонорар, – напомнил я.

– Ой! – толстяк стряхнул оцепенение, шлепнул себя ладонью по вспотевшему лбу, вытащил из внутреннего кармана пакет. Протянул, оставив на бумаге липкие следы жженого сахара.

Я обнажил деньги, пролистнул.

– Сумма корректна! – подтвердила блоха.

– Абдуллах вас проводит, – пробормотал толстяк.

Я вышел за дверь.

12 апреля

Ночь: аэропорт Шарль де Голль. Выпив в баре текилы со льдом и съев теплый сэндвич с лососем, направляюсь на мой рейс: 23:40. Стамбул. Завтра вечером *чтение* рассказов Чехова для одной полубандитской турецкой семьи. Старые клиенты, читал им уже восемь раз. И все – Чехов. По пути захожу в туалет. Облегчаюсь. Мою руки, разглядывая себя в зеркало. Нельзя сказать, что лицо мое приветливое. Подпольный образ жизни откладывает отпечаток. И уже первая седина в волосах видна. Но глаза спокойные. Это главное. Красная блоха даром электронную кровь не пьет…

К соседней раковине встает африканский красавец. Таких ждет архипелаг Holo: высокий, прекрасно сложенный, с выразительным лицом. Сексуально я равнодушен к мужикам, хоть пару раз спьяну и оставлял сперму в женоподобных вьетнамских юношах. Но просто оценить подлинную мужскую красоту я всегда способен. Африканец легко и белозубо улыбается мне в зеркале, вытирает шоколадные руки рисовой салфеткой, швыряет ее в корзину. И вдруг обнимает меня и целует в губы. Вижу близко его глаза с красноватыми прожилками в белках. Губы большие и теплые. Блоха пищит: “Неожиданное физиологическое вторжение!” Я не успеваю никак отреагировать, как дурак стоя с мокрыми руками. Африканец же стремительно уходит. Чувствую что-то во рту. И по вкусу понимаю – инфотаблетка. Неожиданно, черт возьми. К ночи моя реакция заторможена.

Перевожу дыхание, вытираю руки, губы, беру кейс, выхожу из туалета. Таблетка с мятно-лимонным привкусом стремительно

тает у меня во рту, красная блоха считывает ее информацию, передает в ухо – зеленой блохе. Та шепчет нежно:

– 3333. “БМВ” номер 8239 FT на подземной стоянке P-2, третий уровень, место 301. Код: 6510.

Все, мирная жизнь кончилась. Кухня. Четыре тройки, черт их побери. Стамбул и Чехов – на помойку. Пора, мой друг, пора…

Спускаюсь на стоянку, нахожу машину. Это автомат. Произношу код. Задняя дверь открывается.

– Добро пожаловать, сэр! – приветствует меня машина.

Сажусь. Пристегиваюсь.

– Сэр, могу я начать движение? – спрашивает машина.

– Начинай, скотина железная.

– Время поездки – 53 минуты.

– Fuck you!

Выезжаем с парковки. Рассекаем ночное шоссе. Надо собраться с мыслями. Которых, признаться, нет. Миссия Кухни. Я должен увидеть, как раздавят гадину. Убедиться, что молекулярный гад мертв. Ради мирного неба на Кухне, fuck you slowly. Во имя хрустящего венского шницеля на Шницлере. Во имя 700-граммового стейка на “Шуме и ярости”. Во имя лебединой грудки на “Докторе Живаго”.

И я сделаю это, черт возьми!

После быстрой ночной езды машина доставляет меня к каким-то ангарам. Здесь рваная колючая проволока, останки ржавой военной техники, которую некуда и некому убрать. На ангаре надпись – калифорнийские ВВС, полк *Grey Eagles*. В общем, “эхо войны”. Эхо войны… интересно, есть роман с таким названием? Синяя блоха утверждает, что есть, и даже… 18. Не жарил ни на одном эхе…

Въезжаем в разбитые ворота. Вижу взлетную полосу. На ней стоит небольшой турбовинтовой самолет травяного цвета. Покидаю машину. Подхожу. Люк в самолете открывается. Поднимаюсь по лесенке. В обшарпанном салоне – только пилот. Кивает мне, забирает лесенку, задраивает люк. Сажусь. Пристегиваюсь.

Взлетаем. Блоха пищит, что маршрут неизвестен. Самолет качает и трясет. Давно не летал на таких гробах…

Полтора часа лету, и мы приземляемся. 72,3 километра от Брно. Однажды я *читал* в Брно. А где мы не читали, черт возьми?!

Здесь тоже – бывшая военная база. И тоже – руинирована. Вылезаю из самолетика. Меня встречает тот самый богатырь-блондин из кухонной СБ, прервавший одним ударом суетливую жизнь предателя Антонио. Моя ладонь исчезает в его мощной длани. Он одет в белый военный комбинезон из живородящего

нейлона, на поясе – белые пистолет, гранаты, два ножа, топорик, *мягкая* праща; на левом бедре – огнемет Smaug 4, на правом – ракетомет Valhalla SM. Серьезная экипировка. Он берет мой кейс. Следую за ним. Садимся в джип, едем между заброшенных зданий, выезжаем на просторную взлетную полосу, освещенную луной. На ней стоит Northrop B-2 Spirit. Блоха идентифицирует год выпуска: 2000. На нем и полетим? Мда, парни, а поновей ничего не нашлось? Но вопросы задавать бессмысленно…

Джип подруливает, и вскоре я оказываюсь внутри черного чудовища. Здесь тесновато, но светло. Двадцать человек в белых комбинезонах сидят, пьют и едят, переговариваясь между собой. Все они из нашей СБ. Лица многих знакомы. Но персонально, естественно, я не знаю и не должен знать никого – это Устав Кухни. Приветствуют.

– Разделите с нами наш скромный ужин десантника, – приглашает блондин.

– С удовольствием.

Разделяю, жую теперь уже холодный сэндвич, пью плохой кофе. Парни вокруг крутые, на них держится наша безопасность. Их мрачноватые шуточки:

– Подвинься, братишка Дан.

– Роальд, лучше пихни меня, а я пихну тебя.

– Смотря куда, Дан.

– Гы-гы-гы…

Квадратные челюсти жуют неспешно.

– Вам нужно экипироваться, – сообщает блондин. – И я сразу введу вас в курс дела.

Переодеваюсь в такой же белый комбинезон, натягиваю белые сапоги, пристегиваю на пояс белую кобуру с белым пистолетом, гранату, нож. Блондин засвечивает голограмму.

– Северный Урал, гора Манарага, высота 1662 метра, вход в пещеру между вторым и третьим зубом, вот здесь. Снизу туда ведут две тропы, по ним они на роботах спускают тираж. Но позавчера там снова началась зима, все завалено снегом, выпало 32 см. Нам придется проникать в пещеру сверху. Придется стать птицами. Вы будете у меня на спине.

Стать птицей? Мать вашу серую гусыню… Бросаю взгляд на его спину. Широкая.

– Проникаем в пещеру, уничтожаем персонал, минируем машину, спускаемся вниз, взрываем все. Добираемся до этой реки, 870 метров, едем по льду еще 1790 метров. И нас цепляют сверху “богомолы”. Вопросы?

– А раньше “богомолы” нас зацепить не могут?

– Им нужен маневр для пике, гора мешает.

– Почему взрываем, только когда спустимся?

– Опасность снежной лавины. Если пещера просторная, детонация будет сильной.

– Понятно.

– Взрыв вы сами увидите, услышите, и его зафиксируют ваши блохи, все будет чисто. Без вашей визы не улетим. И под снегом не останемся. Еще вопросы?

– Когда я должен войти в пещеру?

– Когда получите от меня сигнал. Вы ждете снаружи, с нами не идете.

– Понял.

– Еще вопросы есть?

– Скажите, а почему нельзя просто пустить в пещеру ракету?

– Вероятность уничтожения машины – 17 %.

– Две ракеты, три?

– Это не увеличит вероятность. Пещера может быть достаточно глубокой, они не дураки. Пускать туда ракеты – пустая трата денег. А ракетами с ядерным оружием Кухня не располагает. Еще вопросы?

– Нет.

– Тогда прошу вас занять место и пристегнуться. Время в полете – 3:44.

– Да, забыл. А мой кейс? Он должен быть со мной.

– Не хотите оставить его в самолете?

– Ни в коем случае.

– У вас сзади в комбинезоне есть пространство для живородящего бушлата. Мы не берем бушлаты, так что засуньте туда ваш кейс. Не сейчас, перед выходом. Я вам помогу.

– Хорошо.

Сажусь в тесное кресло. Пристегнулся. Блондин со зверской силой хлопнул в ладоши и издал высокий горловой звук. Десантники ответно исполнили то же.

– Голубые шершни, время настало?! – проорал блондин.

– Тряхнуть стальными мудями!! – ответно заорали десантники.

– Обрушимся на врага как?!

– Гром и молния!!

– Размажем его по?!

– Плоской земле!!

– Развеем его пепел на?!

– Утренней заре!!

– Скуем себе что?!

– Доспехи! Золотой!! Славы!!!

Двигатели взревели, самолет дрогнул и взял разгон.

Взлетели. Десантура сразу уткнулась в свои голограмки – кто во что горазд: экзотика, порнуха, *мягкие* радости, путешествия. Я напряг блох по ландшафту предстоящей местности: как, что, сколько. Всякое может случиться… Да и в самой горе тоже. Конечно, я всегда буду за спинами этих крутых парней, я пойду в пещеру, когда *графоманов* изрешетят, но… но! Memento mori. Республика Урал давно уже потеряла статус государства, превратившись в опасный анклав, управляемый четырьмя бандами, ведущими перманентные войны с соседями и между собой. С одной из этих банд договорились молекулярные штукари. Наша Кухня действует самостоятельно. Риск? Да. Гарантии? Никаких. Блохи прогнозируют мою выживаемость в предстоящей операции: 71,4 %. Спасибо, родные! Что бы я делал без вас? Красная предлагает мне трехчасовой укрепляющий сон. Но спать не хочется. Не до сна.

В минуты беспокойного ожидания надо погружаться не в сон, а в старые *плоские* фильмы. Они успокоят и приободрят лучше всякого сна. Мои друзья Дживс и Вустер ждут меня. Обожаю первую серию, когда похмельный аристократ после смехотворного суда за ночной дебош поутру приплетается домой, рушится на постель, чтобы вскорости попасть в руки ангела-хранителя – нового идеально предупредительного слуги, начавшего свою службу приготовлением похмельного напитка для аристократического мудозвона. Глоток подсоленного и поперченного томатного сока с бренди и яичным желтком, ванна, чистое белье, правильно взбитая подушка с голландской наволочкой, дневной сон, бумажные газеты на подносе, поздний завтрак в постель, халат, музицирование с холостяцким горлодранием, прогулка, предстоящий веселый обед с такими же богатыми бездельниками, ночные увеселения… что может быть лучше для холостяка?! Каждый раз, просматривая этот сериал, я пускаю слюни о такой жизни. Семья мне не нужна: дети, теща, семейные праздничи, хороводы вокруг голографической елочки, “милая, ты не видала мои носки?”, “дорогой, у меня на попочке опять вскочил подозрительный прыщ!” – это все не для меня. А вот слуга, спокойный, как скала, точный и безотказный, как швейцарские часы, всегда чисто выбритый, прилично одетый… Мда. Мечтаю о таком человеке рядом. С ним можно колесить по миру, живя в свое удовольствие. Верное плечо, умелые руки. И каждое утро:

– As you wish, sir![9]

Дорогого стоит. Это вам не простое:

– At your service, sir![10]

Это нужно не только заработать, но и заслужить. Я стараюсь,

мать вашу…

И хорошо бы, чтобы он умел хорошо готовить. Хорошо. Это важно! Когда лет через пять я уйду на заслуженный покой и стану использовать эскалибур только для разрезания старомодных писем, я буду заказывать моему Дживсу стейки, салаты и холодные супы.

В сорок лет сменю внутренние органы, сделаю новое лицо, обновлю член, запущу в мозг суперблох…

“И наше счастье будет длиться ве-е-е-е-е- е-е-чно!”

Не успеваю досмотреть четвертую серию, как в салоне раздается сигнал. Тут же следует громоподобный глас блондина:

– Шершни! Всем встать! Надеть маски! Экипироваться! Готовность – девять минут!

Белые богатыри встают. Я – тоже. Они упаковываются, разбирают оружие. Я надеваю маску, белый шлем. Блондин помогает мне засунуть за спину мой дорожный кейс. Без него – я не человек.

Блондин:

– Шершни, где вы?

– В небе!!

– Где ваша доблесть?

– В сердце!!

– Где ваше мужество?

– В яйцах!!

– Где ваша победа?

– На поле брани!!

– Мы непобедимы!!

– Отныне и навсегда!!

– Бегом!!!

Экипированные десантники начинают бег на месте в тесном пространстве.

– Вперед!!

Они вбегают в грузовой отсек. Я поспешаю следом. В отсеке виднеются крылатые ракеты с встроенными кабинами. Кабины начинают открываться.

– Шершни, по местам! – командует блондин.

Десантники забираются внутрь крылатых ракет, ложатся ничком. Блондин забирается тоже, делает мне знак. Я ложусь ему на спину, он пристегивает меня к себе.

– Шершни!! – ревет подо мной блондин, сотрясая корпус ракеты.

– Здесь и всегда!!

– Обрушимся на врага!!

– Яростным роем!!

– Вонзим стальное жало!!
– Ему в глотку!!
– Вылет!!!
Кабины закрываются. Пол под нами щелкает, содрогается.
И мы падаем вниз.
Свист вввоооозззздухххххххаааа…
Блохи успокаивают меня технической информацией.
Но я спокоен. На такой спине можно быть спокойным.
Я спокоенспокоенспокоенспокоен
Мы
летим
на
Ма
на
ра
гу

Пак!!!
Звук лопнувшего вдоль корпуса ракеты.
Еще хлопок.
Свист крыльев дельтаплана. Вцепляюсь в спину моему ифриту, хоть и пристегнут к ней накрепко. В могучих руках его – рули. Ослепительная лунная ночь. Белые холмы под нами. Черный извив реки.
А впереди – белая Медвежья Лапа. Торчит над всем остальным.
Пак! Пак! Пак! Пак!
Лопаются ракеты, раскрываются и свистят териленовые крылья.
Воздух режет бритвой.
Шесть минут полета.
И мой ифрит легко приземляется на Манарагу. Почти точно между вторым и третьим зубом. Или – когтем? Отстегивает меня. Проваливаюсь по яйца в снег. Безветрие. Мороз. Рядом начинают приземляться шершни. Взбивают фонтаны снега. Дельтапланы сброшены, кувыркаются вниз. Блондин выбрасывает вверх белый кулак. Шершни бегут, мощно буравя снег. Они способны своротить нахрен эту гору.
Я сажусь в снег. Его много. Он рыхлый, легкий, недавно выпавший. Кругом – все белое, облитое луной. Внизу – долина с черной, замерзшей рекой.
Шершни удаляются от меня. Залегают в снегу. Несколько секунд затишья и…

Вспышка. Хлопок.

Вскрыли пещеру.

Автоматные очереди. Работа началась.

Откидываюсь навзничь. Пусть парни сделают свое дело. Давно не валялся так в снегу. Надо мной только луна и звезды. Смешно! Выбрал правильный момент, чтобы на звезды полюбоваться. Как уверяют мои блохи, от звезд многое зависит в нашей жизни.

– И это чистая правда, мой господин.

– Тебя, блоха, не спрашивают.

Луна здесь яркая. Когда был ребенком, мать рассказывала мне одну татарскую сказку про скромную девочку Зухру. Она жила с отцом и злой мачехой, которая ела ее поедом и наконец поручила падчерице непосильную работу – наполнить до рассвета чан без дна. Девочка взяла коромысло, пошла на реку, наполнила ведра и загляделась на Луну. Ей показалось, что рай – на Луне. И она попросила звездочку, сияющую рядом с Луной, взять ее в рай. И звездочка забрала Зухру. Девочку искали весь день, а вечером увидели на Луне, несущую на коромысле два ведра. Мать уверяла, что изображение на Луне – это та самая Зухра с коромыслом и ведрами. Отец же уверял, что это Каин поднимает на вилы брата своего Авеля. А звезда, сияющая рядом с Луной, это…

– Венера, мой господин. Вторая планета Солнечной системы. Видимая звездная величина –4,6. Перигелий 107 476 259 км, 0,71843270 а. е. Афелий 108 942 109 км, 0,72823128 а. е. Эксцентриситет орбиты…

– Блоха, спущу в унитаз.

– Всплеснусь, воскресну и вернусь!

Сигнал.

Пора, Геза.

Встаю, иду к пещере по снегу. Можно не спешить. Первая работа сделана. Теперь – моя очередь. Снег глубокий. Иду по следам десантников. Они перепахали снег, как кабаны. Впереди – черная нора. Она точно между двух огромных зубьев горы. Над норой – легкое облако дыма. Иду к ней. Она зияет. Быстро справились парни! СБ даром наш хлеб не ест. Уважаю профессионалов. Искореженные куски железных ворот живописно торчат вокруг дыры. Вскрытая консервная банка! С тухлым молекулярным мясом. Блохи – молчать. Я все вижу сам.

Вхожу внутрь.

И сразу —

белые тела десантников, застывшие в странных позах. Словно их мгновенно заморозили.

Fuck!

Блохи: ТРЕВОГА!!!

Бросаюсь назад. Мне в шею впивается что-то. Нет, нет! Я быстрый, суки, я быстрый. Бежать. Дышать. Бежать. Дышать. Бежать. Дышать. Бежать. Снег, снег, снег легкий и глубокий снег легкий и глубокий вяжет вяжет вяжет ноги снег ноги гнутся о побег и так хочется бежать манарагу мне рожать а гора ползет во мне по желудочной слюне и манара и хара будет снежная нора а манара и аро рого неро и горо…

Свет.

Сквозь веки.

Открываю глаза. С трудом.

Пространство. Большое. Белый потолок. Огромные окна. В них яркое голубое небо. Слишком яркое. Закрываю глаза.

– Bonjour, Geza!

Открываю глаза. Перевожу взгляд. За огромным столом. С сигарой и напитком. В огромном кресле. Анри. Огромный.

– Как спалось?

По его молочно-белому, безразмерному лицу проползает улыбка. Слоновьи глазки. Над ним висит картина. Что-то знакомое. Блоха, что это? Молчание. Ау, блохи! Разлепляю губы. Из них течет. По моему подбородку. Кровь. Мой рот полон соленой крови. Глотаю. Ощупываю рот языком. Зубы целы. В нёбе. Что-то. Ранка. Они вытащили из меня блоху. Мой мозг пуст. Ноет плечо. Старые раны. Что это за картина? Молчание мозга. Моего. Глубокое.

– Как спалось, дружище?

Он встает. Шаркая ножищами, приближается ко мне. Он – облако. В костюме цвета папайи. Он всегда любил фруктовые цвета. Его длань приближается к моему лицу. На длани – знакомый козел с зажатой в зубах голубой розой. Козлина усмехается. Длань вытирает мне подбородок салфеткой.

– Ты можешь говорить?

Произношу:

– Мо… гу.

– Прекрасно.

Попыхивая сигарой, он отходит к окну. Осматриваюсь. Я лежу в кресле. Без комбинезона. В тонком свитере и брюках.

– Где я?

– На Манараге.

Пытаюсь думать. Это трудно. Без блох.

– Хороша погодка, а? – он выпускает дым в стекло, не

оборачиваясь. – Три дня тотального снегопада. А сегодня – рай. В честь тебя. Хочешь выпить?

Это правильное предложение.

– Хочу.

Он подходит к небольшой барной стойке, кидает лед в стакан, наливает. Несет мне. Беру стакан, делаю глоток. Скотч. Нёбу больно. Но мне хорошо. И еще глоток. Спускаю ноги на пол. Он из широких красивых досок. Встаю. Голова слегка кружится. Анри с усмешкой смотрит на меня, пыхтя сигарой:

– Ты выглядишь неплохо.

– А где…

– Доблестные голубые шершни? В воздухе.

– Их… убили?

– Ну зачем же. Они еще послужат Кухне.

Делаю глоток.

– Анри. Что, черт возьми, происходит?

Он разводит ручищами:

– Да уже все произошло, дорогой мой! Ты на Манараге. Ты жив и здоров. Твои насекомые…

Он подходит к столу, берет прозрачный контейнер для блох, смотрит на свет:

– Они устарели. Тебе нужны более совершенные помощницы, с правильным пониманием происходящего.

– Анри… ты – кто?

– Я тот же. Но немножечко другой!

Он смеется, колыхая животом. Сглатываю кровь. Глотаю виски. Пока ничего не понимаю.

– Чего ты хочешь?

– Геза, я хочу, чтобы мы поняли друг друга.

– И что я должен понять? Ты… против Кухни?

– Боже упаси! – он скрещивает длани на груди.

– Тогда почему ты здесь? И зачем вынул из меня блох?

Он кладет сигару в пепельницу.

– Пойдем, Геза. Я что-то покажу тебе. А потом мы с тобой пообедаем. И обо всем потолкуем.

Он подплывает к двери, она открывается. Ставлю стакан со льдом на край стола, следую за ним. Мы выходим и оказываемся в большом круглом многоэтажном колодце. Здесь прохладно и сумрачно. Вниз уходят четыре, пять… семь этажей. Сверху нависает горная порода. Это все вырублено в горе. Круто! Возле Анри возникают двое охранников. Наш этаж – самый верхний. Анри движется, опираясь на ограждающее перило, подходит к лифту. Мы входим во вместительный лифт, отражаемся в зеркалах. У меня серое лицо с порозовевшими от виски щеками.

И на сером свитере видны капли моей крови.

– Ты вовремя прилетел, Геза, – Анри улыбается мне в зеркале, – очень вовремя!

Я молчу.

– Манарага давно тебя ждет.

– Что… это все, Анри?

Он слегка обнимает меня.

– Это наше будущее, Геза.

Лифт останавливается. Мы выходим. И сразу оказываемся в большом, ярко освещенном заводском цеху. Все его пространство занято одним огромным, длинным станком. Вокруг суетятся рабочие в синих комбинезонах. К нам подходит женщина с восточным лицом в стильном черном комбинезоне. На предплечье у нее *мягкая* умница в виде ящерицы.

– Добрый день, господа! – она приветливо улыбается.

– Привет, Шалина, – отвечает Анри. – Познакомься, это Геза, наш друг.

– Привет, Геза!

Я молчу.

– Шалина, дорогая, Геза никогда не видел, как работает молекулярная машина. Покажешь?

– С удовольствием! – раскосые черные глаза приветливо уставились на меня.

Но алкоголь уже привел меня в чувство:

– Fuck off, bitch!

Она улыбается.

– Ну, Геза! – снисходительно морщится Анри.

– Анри, ты *графоман*?

– Нет, Геза.

– Тебя купили китайские штукари?

– Меня невозможно купить, Геза. Не хватит денег.

– Тогда знай, что я никогда не пойду против Кухни.

– И я тоже.

– Поэтому ты работаешь на *графоманов*?

– Я работаю на будущее Кухни, Геза.

– Лепя *брикеты* вместо *дров*?

– Геза, ты должен выслушать меня.

– Тебя убьют. Не я, так другие.

– Нет.

– Твое имя будет проклято.

– Нет.

– И забыто.

– Не-е-ет!

Его широченная самодовольная морда вызывает ярость.

Гнида! Продался, обманул. Да еще спиздил моих блох. Жирная самоуверенная скотина. Делаю к нему шаг, но охранник профессионально бьет меня под дых. Падаю на каменный пол.

– Геза, Геза… – прохладная длань гладит мой затылок.

Переворачиваюсь на спину, дышу как рыба. Пол здесь ледяной. Горная порода.

Анри тяжело опускается на корточки:

– Послушай, Геза. Меня никто не покупал. И я не *графоман,* мечтающий срубить бабла по-черному. То, что я построил здесь за два года, имеет более серьезную цель. Речь идет о будущем. Моем, твоем, нашем. Всей Кухни. Я не отступник, не предатель. Поверь мне.

– Не верю.

– Поверишь, непременно поверишь. Помогите ему встать.

Гориллы поднимают меня, держат под руки.

– Взгляни хотя бы на процесс. А потом мы с тобой все обсудим.

– Fuck off…

– Ну ты хоть взгляни, упрямец! Это стоит того. Парни!

Гориллы подхватывают меня, несут к машине. Длинноногая Шалина бежит впереди. Меня подносят к торцу машины. Он напоминает заборник у мусоровозов. В этот момент к нему подъезжает небольшой электрокар, груженный черной, блестящей, словно от масла, породой. Блоха подсказала бы, что это. Машина открывает свой зев, и узкоглазые рабочие загружают в нее руду.

– Сэр, вы видите процесс загрузки исходного материала в ММ-105, а именно графита. Массив Манарага сложен габброидами и сиентитами, безусловно не без интрузий, вся восточная часть горы – метаморфизованные породы саблегорской свиты, сланцы. Именно в этой части были обнаружены три мощные графитовые линзы. Наш первый, производственный этаж расположен на уровне верхней линзы, богатой крупночешуйчатым графитом, имеющим лишь 15,2 % примесей и являющимся идеальным сырьем для производства книжной продукции. Атомы водорода и кислорода, необходимые для строительства углеводородных соединений бумаги, картона, коленкора, каптала, ниток и клея, машина берет из воды, подаваемой в заборник вместе с графитом, типографская краска подается в машину в чистом виде. Сырье загружается в машину дискретными порциями по 260 кг. Это максимальный объем, который машина способна переработать за один цикл. Время одного цикла – 2 часа 43 минуты. Если мы сейчас подойдем к хвостовой части машины, то застанем завершение предыдущего

цикла. Вам повезло! Прошу вас!

– Да пошла ты…

Гориллы несут меня вдоль машины. Она похожа на гиганскую стальную гусеницу, оплетенную кабелями и трубами. Где такую махину спрячешь? Разве что в горе. Ловко придумали, суки…

В хвостовой части гусеницы суетятся рабочие в белых перчатках. Из железной жопы гусеницы выползает… кубометр “Ады”! Той самой. Блоха, сколько здесь книг? Да, нет же блохи…

Зато Анри словно читает мои мысли:

– Геза, тебе действительно повезло. Сегодня мы завершаем наш первый молекулярный тираж. За цикл машина собирает тысячу “Ад”. Это предпоследняя тысяча.

– И каков общий тираж?

– Миллион.

– Ты спятил, мудило.

– Нет, – усмехается он в своей тошнотворной манере. – Работа шла в три смены. Смотри!

Он берет книгу из куба, подносит мне, сидящему на руках охранников, листает. Да. McGraw-Hill, 1969. Черный, порванный супер с дыркой в правом углу и косым порезом слева. Такие же дырка и порез на остальных 999 экземплярах. А на 142-й странице пометка карандашом. Пятна чая, вина. Потертые углы. Состарившийся, неровно пожелтевший обрез. Живописно. Старик Набоков может спать спокойно.

Бью горилл по лапам:

– Опустите меня.

– Опустите, парни, – командует Анри.

Меня ставят на ноги. Подхожу к книгам. От кубометра “Ады” идет странноватый запах. И Анри снова читает мои мысли:

– Это молекулярный пар. Отходы производства. Молекулы, оставшиеся от процесса сборки продукта. Вместе с воздухом через трубу их выбрасывают наружу. Необычный запашок, правда?

Поворачиваюсь к нему:

– Что ты от меня хочешь?

– Чтобы мы отобедали. И поговорили.

Есть, признаться, хочется. Сейчас толстомясый начнет меня вербовать. Я круто, круто влип. Полет на ебаную Манарагу оказался гнилым делом. Они нас ждали. У него здесь все продумано.

– Что ж. Веди жрать.

– Тут неподалеку.

Поднимаемся на лифте, выходим. Двери расползаются. И… ах! Мы оказываемся на кухне. Да какой! Каменные рельефные своды, молочный светящийся пол, семь, нет, девять прозрачных

печей, стоящих по кругу, с уходящими в потолок трубами. В печах пылает огонь. Они круглые, необычной конструкции. Никогда таких не видел. Вокруг печей суетятся повара в белом. Звучит легкая оркестровая музыка, горят свечи. Пахнет едой. В центре – стол. Сервированный на двоих. Для нас?

– А для кого же еще? – усмехается слон.

Подхожу к печам. Повара почтительно кланяются, не отрываясь от своего дела. В печах есть все – гриль, варочная поверхность, духовой шкаф. Все прозрачно. Печи смотрятся шикарно. И в них горят… книги! Горит “Ада”! Китаец подвозит тележку с *дровами.* С которых смотрит эстет и мизантроп Набоков. Истопник ловко сует их в печи. И они там горят. Как дрова! И никакого эскалибура.

– Никакого листания страниц, Геза.

Так вот это что! Вот для чего все затеяно, построено. Эта стальная гусеница. Эти печи. На них варятся супы, тушится мясо, овощи, в духовках что-то запекается. Даже хлеб!

– Как же без своего хлебца?

Но это же… революция, fuck you slowly!

– Ты всегда был догадлив.

Нет. Это безумие. А как же… Кухня? Традиция? Book’n’grill?

– На нем свет клином не сошелся.

Твою мать! Нет, нет. Надо выпить…

– А мы сейчас хлопнем, дружище.

Возникает официант с подносом. На нем – две рюмки водки и две тарталетки с черной икрой. Он решил устроить русский стол?

– Не только. На “Аде” можно многое приготовить, – Анри берет рюмку в руку.

В этой ручище она кажется наперстком. И козлина с розочкой скалится мне.

– Твое здоровье, Геза!

Он выпивает. Закидывает тарталетку в пасть, словно таблетку. Я снимаю свою рюмку с подноса:

– И Кухня ничего не знает?

– Уже узнала. В твоем лице.

Опрокидываю в себя рюмку ледяной водки. А зачем я ему? Почему не кто-то из Квинтета?

– Они безнадежны, Геза. Военное поколение. А мы с тобой – дети войны.

– И чем мы лучше их?

– У нас меньше предрассудков. Пойдем!

Он приглашает меня к столу. Подходим, садимся. Девять печей пылают вокруг нас, словно… жертвенные… эти… ну как… забыл… нет, без блохи не вспомню. Официант наливает нам по

бокалу белого.

– У нас с тобой разница всего в четыре года, – продолжает Анри, беря бокал и пригубливая. – Это ничто. Мы одно поколение.

– Думаешь, нам легче договориться?

Он выдерживает паузу, жуя вино губищами. Проглатывает.

– Послушай, Геза. Я знаю о тебе все. Ты жесткий профи, умный и трезво мыслящий, не фанатик. Не кажется тебе, что у мира изжога от book'n'grill?

Неожиданный вопрос. Признаться, не задумывался.

– А ты подумай. Война давно кончилась. Руины восстановлены. Те, в которых мы делали первые стейки на "Стальных грозах". Их глотали первые клиенты Кухни – европейцы, вернувшиеся с войны. Отстоявшие Европу. Они были в восторге. Их девочки зачарованно пялились на пылающие страницы. А потом отдавались им в полуразрушенных отелях. Book'n'grill! Новая мода. Гротеск, позволяющий забыть войну. Послевоенная dolce vita. Это было, Геза. Но прошло. Первые клиенты стали респектабельными людьми. И у них гастрит от гриля. Оглянись на современную клиентуру: бандиты, отморозки, старперы-романтики, глупые любопытные. Нормальные клиенты ушли. Если повар *читает* раз в неделю – это теперь считается очень хорошо. А что было тогда? Я встал к жаровне в шестнадцать лет. Три *чтения* в сутки считалось нормой. Я зарабатывал кучу денег. А цены были значительно ниже. И думал, что так будет всегда. Но мир меняется. Мода меняется. А Кухня – нет. Ее возглавляют безнадежные романтики гриля. Уперлись в этот гриль! Жаровня, решетка, эскалибур. Стейк, дорада на решетке, шашлык. Они задрали цены. Они не хотят ничего менять. А меню? Наше меню! Oh-là-là! – он взмахнул ручищами. – В арсенале у каждого из нас есть максимум десять блюд. А у некоторых молодых – вообще по три. Но это же уныло, Геза! Тебя не тошнит от вида решетки?

– Пока нет.

– А меня – тошнит! – выкрикнул он и смахнул свой бокал со стола. – Тошнит! Время решетки прошло! Хватит глотать дым! Хватит шелестеть! Пора предложить миру высококачественную и разнообразную еду. Пора!

– А ты пробовал говорить с Квинтетом?

– Пробовал. Они безнадежны.

Молчу. Боюсь думать. Да и мыслей пока нет. Печи пылают.

– Ладно, мы заговорились, а ты голоден… – он хлопает в ладоши. – Парни! Мы готовы.

Нам подают буйабес со свежеиспеченным хлебом. Он берет

новый полный бокал, чокается с моим:

– Геза, я рад тебя видеть здесь, на Манараге.

Отпиваю вина. Пробую суп. Превосходно.

– Да, у нас хорошо готовят. Сегодня нам предстоит La Grande Abbuffata. Так что не торопись, дружище.

Мы не успеваем съесть и треть порции, как тарелки забирают. И вместо буйабеса передо мной распиленные и запеченные в духовке говяжьи мозговые кости. И другое вино. То же самое и у моего визави. К костям поданы ржаные гренки, соусы и маленькие серебряные ложечки.

– Ты должен сегодня попробовать все, что приготовлено на “Аде”.

“Ада”. Весомое *полено,* никто не спорит с толстомясым…

– Речь пойдет не только о *полене*, Геза. Присмотрись к печке.

Гляжу на печи. Вон что! На них на всех оттиснуто ADA. Это сразу не бросается в глаза.

– Революция коснется и самих печей.

– Ты собираешься готовить только на “Аде”? Для этого бухнул миллион копий?

– Боже упаси! “Ада” – лишь начало. Первый шар. Второй будет другим.

– И что?

– “Дон Кихот”. Первое издание, естественно. И другая конструкция печи.

Вспыхивает голограмма. Тоже прозрачная печь, под старину, с медными завитушками.

– И печь будет называться “Дон Кихот”?

– Я не ошибся в тебе, мой друг! Конечно! В этом фишка.

– И тоже – миллион *поленьев*?

– Конечно. Третий продукт – “Улисс”. Четвертый – “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Печи соответствуют… – он с чмоканьем потрошит кость. – Ммм… вкусно, не правда ль?

– Повара замучаются возить эти печки с собой, прятать их.

– Зачем прятать?

– Ты предлагаешь их держать у клиентов?

– Зачем у клиентов?

– Тогда где они будут храниться?

– В ресторанах. Как и положено. Им же требуется дымоход.

– Подпольная сеть ресторанов?

– Зачем подпольная?

Я поперхнулся костным мозгом. Откашлявшись, уставился на провокатора. Толстяк потрошил мосол, озорно поглядывая слоновьими глазками.

– Дорогой Геза, миру надоел не только гриль, но и подвалы.

Если от гриля у господ гастрит, то от подвалов – ревматизм. Пора Кухне подняться наверх. В теплые, светлые и удобные помещения.

– То есть…

– То есть! – кивает он, отшвыривая пустой мосол.

На столе возникают тарелки с дымящимся борщом.

– Борщок, Геза! Русские герои “Ады” любили его откушать даже на Антитерре. Под борщ следует хлопнуть русской водки.

Официанты работают как часы. Запотевшая рюмка оказывается в его лапище. Лучше выпить, чтобы прийти в себя.

– Конечно.

Выпиваю.

– Анри, ты хочешь… легализовать Кухню?

– Именно так.

– И что… это будет… официальный бизнес?

– Конечно.

– Как?

– Как обычно, друг мой. Обеспеченная семья идет вечером в ресторан “Дон Кихот”. Другая – в “Улисс”. Третья – в “Процесс”. Вкусный обед из четырех блюд на первоизданиях. Короткое меню. Печь стоит возле стола, полюбуйтесь, дети, как горит великий роман. Дорогой, как это красиво! Тебе нравится, дорогая? Счет, пожалуйста. Все было вкусно? Да, благодарим вас. Приходите к нам еще.

– Но это же… фейк! Это же не книга из музея, которую…

– …украли, рискуя свободой? За которую кому-то проломили башку? Которую прятали *букинисты*? За которую переплачивали впятеро? Потом прятали *почтальоны*? За которыми охотилась полиция? И которую потом сожгли в подвале, оглядываясь на дверь? Геза! Здесь стоит ММ-105, великое изобретение человечества. За три часа она сделает тысячу первоизданий. Без криминала. И никому не придется проламывать башку, переплачивать. И никто не сядет в тюрягу.

– Но люди же узнают…

– Как? Производство будет здесь, на Манараге. Графита хватит на нашу жизнь. Если даже и узнают – кому какое дело, откуда эти книги? Их покажут клиентам – старые, пожелтевшие страницы, вот здесь капля от вина восемнадцатого века, а тут засох мотылек века шестнадцатого, ты можешь представить, дорогая, ведь жил, порхал когда-то?! Мало ли – откуда у нас эти книги. Мы предъявляем высококачественный продукт. В любом бизнесе важно только качество продукта. Оно будет первосортным. Для властей – мы ничего не нарушаем. В музеях не убыло. Полиция отдыхает. Естественно, такие обеды будут стоить раз в двадцать дешевле, чем сейчас. Но и клиентов будет

раз в тридцать больше. Реклама. Правильная. Причуда одиночек, ставшая массовой традицией. Без риска. Без гастрита и ревматизма.

Он спокоен. Он все продумал давно. Мне надо это… надо это… переварить.

– Bon appétit, mon cher. Борщ прекрасный…

Он ест.

Нет, у меня пропал аппетит.

– Налейте мне еще водки.

– Выпей, выпей. Это поможет понять всю грандиозность замысла. Геза, я вынашивал эту идею почти два года. Я продумал все. У нас не будет проблем. Печи сделают китайцы и голландцы. Они спроектированы выдающимися инженерами. Каждая печь создается под свое *полено,* для определенного набора блюд. Он будет неизменен! Сеть суперресторанов покроет мир. Огромные вложения ожидают нас. И огромная прибыль. Мир созрел! Это будет революция.

– А что остается поварам в этой революции? Резать лук, посвистывая? Пассеровать муку? Помешивать супчик половником?

– Артисты гриля уйдут в прошлое, это правда. Эскалибур – на полку. Хватит фехтовать, хватит глотать дым, хватит плясать над жаровней, Геза! Пора готовить. Спокойно, добротно. И хорошо! Без фокусов, без оглядки, без риска. Посмотри на наших поваров! Молодые ребята, а как готовят! Парни! – он кричит поварам. – Все прекрасно! Вы сегодня просто супер!

Повара кивают колпаками. Борщ уносят. Я так и не попробовал его. Блюдо с рыбой, тушеные овощи, красная капуста. Что-то швейцарское. Белое вино. Мне хочется напиться. Выпиваю бокал залпом. И вдруг вспоминаю:

– Постой, а как же… что это было с Антонио?

– Антонио… – он небрежно машет лапой.

– Он же хотел пустить тираж в дело, обрушить Кухню?

– Он оказался мудаком. Жадным и недальновидным. И мстительным. Он засветил тираж, а потом и Манарагу. Я ошибся в нем. К счастью, общался через аватара. С другой стороны, рано или поздно Кухня узнала бы про нас.

– Нас? Сколько вас?

– Не считая нашей СБ, которая принимала вас ночью, я и двадцать три повара. И ты.

– Я не с тобой, Анри.

Слоновьи глазки впериваются в меня. Он вытирает рот салфеткой:

– Полюбуйся-ка, дружище. Тебе это будет интересно.

Возникает голограмма. Коридор. Скальные стены и потолок. Это здесь. По коридору колонной по двое трусят знакомые мне шершни в белых комбинезонах.

– Голубые шершни, время настало! – орет блондин.

– Тряхнуть стальными мудями!!

Они пробегают коридор и оказываются в том самом помещении, где я увидел их лежащими. Вот и развороченные ворота. Но за ними – синее небо, солнце, склон горы. Шершни выбегают из бункера.

– Это пять часов спустя после вашего героического приземления на Манарагу. Их продезинфицировали, нашпиговали правильными насекомыми, поговорили по душам, сделали правильные предложение, поставили задачу. И вперед, голубые шершни! – комментирует слон.

– Вперед!! – ревет блондин.

– Вперед!!!

И с победоносным ревом шершни бегут вниз, поднимая клубы снежной пыли.

– И куда они рванули?

– На Кухню. Как сказал Ленин, революция не делается в белых перчатках.

– Ленин? Это кто?

– А… ты же без блох. Был такой русский революционер. Шершни полетели жалить тех, кто натравил их на меня. И вот, полюбуйся.

Две голограммы. Два трупа. Киприанос и Абрам. Изрешечены.

– Быстрая работа, однако. Что значит – правильные блохи в головах у парней. Не прошло и восьми часов. Остались двое. Думаю, суток не проживут. Квинтету конец. Конец убожеству. Новая эпоха пришла на Кухню. Так что, дорогой Геза, не говори: “Я не с тобой”. Ты умный парень. Колоссальный успех ждет нас. Горизонты новых возможностей. Прошу тебя, не говори мне: “Я не с тобой”!

Квинтету конец? Абрам! Старый Абрам! Они убили старика Абрама. Это… конец. Меня начинает трясти.

– И что будет, если я…скажу: “Я не с тобой”?

Слон цвета папайи тяжело вздыхает, отхлебывает вина.

– Что будет… Вот представь, что когда-нибудь один бородатый писатель напишет роман “Снега Манараги”. И начинаться роман будет словами: “В снегу, между третьим и четвертым зубом Манараги, лежит мерзлый труп человека. Никто не знает, что привело его туда”.

Тарелка с так и не попробованной рыбой летит в него.

– Дурачок… – уворачивается он, но тушеные овощи облепляют половину его самодовольной морды.

– Сволочь!!!

Вздрагивают поварские колпаки от моего вопля.

– Геза, Геза… – посмеивается слон, вытираясь.

– Тебя забетонируют, гнида!!

– Бетона не хватит…

– Ты предатель!!

– Нет. Я реформатор, Геза.

– Пре-да-тель!!

– Да нет же, нет…

– Чтоб ты сдох, гнида!!

Он тяжело приподнимается, с неохотой щелкает пальцами. И в мою шею сзади снова что-то впивается. Гнида! Его купили. Китайцы? Нет! *Санэпидемстанция*! Конечно! Чтобы угробить Кухню. Как это просто! Весь этот цирк с суперпечками… сволочь! Устроил мне цирк! Хватаю бокал, чтобы кинуть в его самодовольную, заляпанную овощами рожу. И бокал бокал бокал прилип к руке руке руке как сталь сталь сталь как рельс рельс рельс бокал бокал бокал алкал алкал алкал море море море вина вина вина и оно было без дна дна дна как море и как горе и горе валится вперед и стол стол стол стол стол меня всегда поймет.

– Доброе утро, мой всесильный, желанный и очаровательный повелитель! Сегодня 14.04. Сейчас 10:02 по местному времени. Погода в районе Манараги ясная и солнечная. Ветра нет. Температура воздуха –3 градуса по Цельсию.

Открываю глаза.

Пространство. Большое. Белый потолок. Огромные окна. В них яркое голубое небо. Яркое! Его так много. Оно такое красивое. От него так хорошо и спокойно.

– Bonjour, Geza!

Перевожу взгляд. За большим столом. С сигарой и напитком. В кресле. Анри. В костюме цвета спелого банана. Добрый и уютный.

– Bonjour, Henri.

У меня во рту – кровь. Опять! Но теперь ее меньше, чем тогда. Ощупываю нёбо языком. Рядом со старой ранкой – свежая. Поменьше.

– Естественно, дорогой. Вход блохи поуже ее выхода. Как спалось?

Сплевываю кровь в предусмотрительно приготовленный стакан, встаю с кресла. В моем теле поразительная сила. И

уверенность в этой силе. Словно в меня залили новую, совершенную кровь. И бодрость, бодрость. Плечо не ноет. Словно мне восемнадцать. Прекрасное чувство. Я легко подпрыгиваю. Что это?

– Это блошка F9, адаптированная под твое психосомо. Хорошо, правда?

– Великолепно!

– Твоя старая блоха отдалась новой и рассказала ей много интересного. Так что тебе будет всегда хорошо.

Мне очень хорошо. Просто – очень! Я рад всему: своим рукам, солнцу, небу, Анри, картине, висящей над ним. Блоха, что это?

– Сальвадор Дали, “Шесть явлений Ленина на рояле”, 1931, оригинал.

А, Ленин… Великий русский революционер, убивший царя Николая II, построивший СССР, написавший “Государство и революция”.

– Вспомнил, Геза? Вчера ты не знал, кто это! – Анри со смехом выбирается из-за стола, пыхтя сигарой, плывет ко мне. – Как мы беспомощны без наших насекомых! Вчера, пока наши умельцы ковали твою новую блошку, я, безнадежный романтик, решил уговорить тебя. И получил тушеные овощи в морду! Все-таки *голый* человек – беспомощное создание, правда?

Весь вчерашний разговор за столом всплывает в моем мозгу словно светящийся шар, переливаясь, разворачивается великолепным пейзажем с дальними, манящими горизонтами. Все детали пейзажа, слова Анри, его мысли и сообщения светятся и поют ясностью и мощью нового, зовущего. Только сейчас я понимаю всю грандиозность грядущей революции. Образ молекулярной машины, этого чуда, переливается, сияет всеми цветами радуги. Это волшебная гусеница с совершенным мозгом и сильным телом. Она ползет, раздвигая время и пространство. Она вползает в сияющее будущее. Революция!

– Она уже началась! – обнимает меня Анри. – Квинтета больше нет, наша служба безопасности сменила старую. Шершни помогли. С поварами работают. С нами уже сорок один шеф-повар.

– Это круто!

– Это очень круто, Геза! Но будет – гораздо больше.

Мы обнимаемся. Я счастлив, что участвую в этом великом деле. Все прекрасно, мощно и ярко! И Анри, мощный слон Анри, как он велик, как умен! Я обожаю его мозг, умное лицо, проницательные слоновьи глаза, могучие длани, цвет костюма, запах его огромного тела, его бодрого козла с голубой розой в зубах. Мы совершим с Анри великие дела.

– Это точно. Вчера я не успел рассказать тебе главного. Художественная литература – дело хорошее, но свет клином на ней не сошелся. Пора Кухне обратиться и к священным книгам.

– Ты хочешь готовить на Библии?

– Безусловно. Но начать надо с более древних текстов.

Он подходит к стене, прикладывает ладонь к матовому квадрату. Квадрат вспыхивает. Раздается мягкий звук, стена раздвигается. Мы входим в небольшую комнату. Она, как и кабинет, вырублена в скале. Потолок светится голубовато-белым. Здесь прохладно. Здесь прекрасно. Здесь тоже пахнет будущим. Все, чего касается длань Анри с козлом и голубой розой, начинает пахнуть будущим. Этот запах заставляет мою кровь бурлить еще сильнее. Анри выдвигает из стены плоский, широкий стеклянный ящик. В нем лежит древний фолиант.

– Когда Александр Македонский сокрушил империю Ахеменидов, ему досталась главная святыня зороастрийцев – двенадцать тысяч воловьих шкур, на которых жидким золотом была записана священная книга “Авеста”. Он приказал что-то из нее перевести на греческий, а саму книгу бросить в море. Но зороастрийские жрецы помнили ее наизусть и снова записали текст на авестийском диалекте. Вот она. Когда закончим с Рабле, сделаем “Авесту”. Печь под нее уже проектируют голландцы. Это будет абсолютный хит Кухни. Представь, Париж, открытие элитного ресторана “Авеста”, а вместе с ним и всей сети в других столицах мира. Джентльмены в смокингах, дамы в бриллиантах и живородящих соболях. Вся архаическая мощь персидской кухни. Древняя музыка. Пламя печей. Благовония. Пылают золотые письмена, варится ягнятина в молоке, тушатся смоквы в меду. И ты, Геза, – управляющий мировой сети ресторанов “Авеста”: Париж, Нью-Йорк, Лондон, Шарлоттенбург, Будапешт, Новгород, Пекин.

– Это… великолепно!

– Да, это будет великолепно, если все сделать правильно… Кстати, вот твой походный кейс. Возвращаю в целости и сохранности. Он будет тебе дорог как память о прошлом.

Он выдвигает из стены еще один большой прозрачный ящик. Там лежат оружие, мой кейс, белый ранец. Мой поварской кейс! Сейчас он мне кажется вещью из другой жизни. Открываю его: аккуратно сложенный халат, колпак, перчатки, эскалибур, четки, шары Баодин для перекатывания в руке, шапочка из живородящего ферросиликона, именуемая “блошиным снотворным”. Если мозговая блоха зависла или чудит, можно надеть шапочку и усыпить блоху на время.

Дверь кабинета Анри открывается и входит… тот самый

великолепный африканец, что поцеловал меня в туалете аэропорта.

– Мортен, дружище! – Анри направляется к нему.

Они нежно целуются, обнимаются, переговариваются вполголоса. Это красиво – высокий, прекрасно сложенный африканец в сером и широкий, как облако, Анри в желтом. Они подходят к барной стойке, Анри начинает готовить Мортену коктейль. Мортен замечает меня в хранилище, поднимает руку, белозубо улыбается:

– Привет, Геза!

– Привет!

– Извини, что пришлось поцеловать тебя.

– Это лучше, чем ударить, Мортен.

Мы смеемся.

– Геза, я смешаю порцию и для тебя. Присоединяйся к нам! – говорит Анри, щурясь на сильном солнце. – Мортен только что прилетел.

– Потрясающая погода! – улыбается африканец.

– Знаешь, Геза, о чем меня спросил Мортен, когда началась наша стройка на Манараге?

– Анри, ну не надо… – укоризненно посмеивается Мортен.

– “Нельзя ли просто поставить здесь обычную типографию, чтобы она печатала книги, а не возиться с этой дорогущей машиной?” Как тебе?

Мы все смеемся.

Сквозь широкие окна с голубого неба солнечный свет потоком проливается на Анри. Он весь залит солнечным светом, его широкое смеющееся лицо источает свет. Этот свет согревает меня сильнее Солнца. Это свет будущего. Нашего. И моего. Перевожу взгляд на свой открытый кейс. Какой старый, затхлый, нежилой дом! Гроб, полный тлена! Он обречен лишь на гниение и распад. Он распадется на рой атомов. Мне смешно. Я смеюсь. Беру убогую ферросиликоновую черную шапочку. Знак моего страха перед самим собой. Знак беспомощности. Знак убожества. Знак потерянного времени. Смеясь, натягиваю ее себе на голову.

Хлоп!

В голове схлопнулось.

Мир съежился. Каменное вокруг. Холодное. Чужое. Опасное. Кейс. Мой кейс. Мой родной кейс. Он здесь, в чужом и опасном месте. Мой халат. Мой колпак. Мой эскалибур. Шарики Баодин. Сердце бьется. Холодно. Здесь холодно. Там в кабинете светло. Холодный свет. Чужой свет. Опасный свет. Там стоят двое. Черный. Который в туалете мыл руки. А потом всунул своим языком мне в рот таблетку. И жирный. Который предал Кухню. И

убил Квинтет. Желтая свинья. Они стоят. Они смеются. Надо мной. Над всей Кухней. В стеклянном ящике оружие. Золотой маузер. Винтовка. Два охотничьих ружья. Огнемет Smaug-4. Ракетомет Valhalla SM. Это осталось от шершней. Он взял их. На память? И ранец. Белый ранец. Это бомба. Которую принесли с собой шершни. Чтобы взорвать чужой мир. Расстегиваю ранец. Внутри дисплей часового механизма. А в кармашке дистанционный пульт. Можно так. А можно и так. А можно одновременно. Но сперва разнести все из ракетомета, облить напалмом. Убить желтую свинью. Убить свинью! Беру золотой маузер. К-96. Магазин на 20 патронов. Такие только у Квинтета. Которого уже нет. На щеке маузера оттиснут герб Кухни: пылающая книга и два скрещенных эскалибура. Магазин полный. Оттягиваю затвор.

– Геза, твой коктейль готов! Иди к нам.

Со стаканами в руках они смотрят на меня. Поднимаю маузер. Рука трясется. Голова трясется. И я трясусь. Я весь трясусь. Но я хорошо стреляю. Я всегда хорошо стрелял. Я очень хорошо стреляю. Ты очень очень очень хорошо стреляешь, Геза. Ты убьешь желтую свинью.

Выстрел.

Пуля проходит между ними. И делает дырку в стекле. Я трясусь.

Желтая свинья ставит свой стакан, плывет ко мне.

Я целюсь.

Целюсь.

Целюсь.

Свинья приближается. Она все больше. Она большая. Большая и желтая. В нее легко попасть, Геза. В желтое и большое легко попасть. Ты же хорошо стреляешь. Ты очень очень очень хорошо стреляешь!

Рука со смеющимся козлом ложится на ствол маузера.

Желтая свинья забирает маузер.

– Геза, тебе не идет эта шапка. Она старомодна.

Глазки свиньи улыбаются. Свинья стягивает шапку с моей трясущейся головы.

Хлоп!

Мир распахивается. Прекрасный. Огромное лицо Анри. Оно рядом. Оно источает свет, радость и надежду. Я только что мог совершить ужасную ошибку. Анри улыбается мне. Он обнимает меня. Я опускаюсь на колени. Обхватываю руками это большое и бесконечно родное тело.

Рыдания. Они сотрясают меня. Слезы текут потоком.

– Поплачь, поплачь, дорогой, – своими большими руками он

по-отечески гладит мои плечи. – Ты дома.

Я плачу. От радости, что я не сделал великой ошибки. От счастья, что все, все, все теперь со мной – Анри, солнце, небо, Манарага, чудесная машина. И будущее, наше ослепительное будущее.

– В которое возьмут всех! Кухня будет доброй ко всем, Геза. Мы будем любить всех. А вот и сюрприз для тебя.

Широкие мягкие пальцы отирают слезы с моего лица.

– Посмотри, кто к тебе пришел.

Дверь открывается. И входят… нет… этого не может быть! Льен и Тяу. Две очаровательные вьетнамочки, близнецы. Те самые, с которыми я был уже трижды счастлив на Пху-Куоке, на Майами и в бухте Халонг. Шлепая резиновыми тапочками по каменному полу, они идут ко мне. Милые, очаровательные! Они в длинных белых махровых халатах.

– Привет, Геза! Привет, Геза! – поют их тоненькие голоса.

– У нас здесь прекрасный бассейн, – сообщает Анри. – Под горой бьют горячие источники. Теперь это наша отопительная система. Манарага – чудесное место во всех смыслах! Все для счастья! Как поплавали, девочки?

– Изумительно! Восхитительно! – поют юные голоса.

– Геза, нам всем предстоит много совместных заплывов.

Девочки медленно приближаются ко мне, пританцовывая. Они очаровательны, за их спиной – райский мир нежных волн, розовых закатов и дальних островов.

– Помнишь, Геза, их песенку, когда ты надевал это? – Анри трясет убогой ферросиликоновой шапочкой.

Как же мне не помнить! Девочки придумали песенку для засыпающих блох, чтобы те не мешали нам любить друг друга на теплом и мокром песке. Песенку на своем смешном английском.

Льен и Тяу запевают ее:

Sleepy fleas, sleepy fleas,

Don’t disturb us make love squeeze!

Голоса их звенят райскими колокольчиками.

– Sque-e-e-eze! Sque-e-e-e-e-e-e-eze! – визжит Анри, растягивая в такт шапочку, как гармошку, своими могучими руками.

Он танцует передо мной, коленопреклоненным, танцует, колышась желтым облаком, изящно играя своим огромным и божественным телом. Он владеет всем. Девочки кружатся вокруг него. Мортен изображает волну и изумительно извивается

солнечных лучах.

– Sque-e-e-e-eze!

Шапочка лопается. И вместе с ней – весь мой прошлый мир. Клочья его летят на каменный пол.

– Sque-e-e-e-eze! – облако подталкивает дюймовочек ко мне.

Они распахивают свои халаты и встают… да, в их традиционную утреннюю позу приветствия, разведя и скрестив свои гибкие и гладкие ножки так, что их нефритовые врата соединяются в волшебный знак WW. О, как я люблю его! Я ползу к нему на коленях, приникаю устами. О, этот запах счастья! О, эта нежность! Ты снова со мной. Навсегда. Навеки!

И поток моих слез проливается на юные чресла.

1

Скучаешь, сладкий? Нужно общество? (*нем.*)

Вернуться

2

Почему нет? Присаживайтесь, девочки (*нем.*).

Вернуться

3

Как твой Юл Бриннер? (*нем.*)

Вернуться

4

В норме! Ждет вас (*нем.*).

Вернуться

5

Преувеличение *(нем)*.

Вернуться

6

Вечное прибытие (*нем.*).

Вернуться

7

Вечное возвращение (*нем.*).

Вернуться

8

Великий поворот (*нем.*).

Вернуться

9

Как пожелаете, сэр *(англ.)*.

Вернуться

10

К вашим услугам, сэр *(англ.)*.

Вернуться